

**Военные  
Приключения**

# АУКЦИОН



**ЮЛИАН СЕМЕНОВ**

Военные приключения (Вече)

Юлиан Семенов

**Аукцион**

«ВЕЧЕ»

1985

**Семенов Ю. С.**

Аукцион / Ю. С. Семенов — «ВЕЧЕ», 1985 — (Военные приключения (Вече))

ISBN 978-5-4484-7878-9

Побеждать можно не только силой оружия. Во всех разведках мира существуют так называемые «отделы культуры», задачей которых является... хищение и сокрытие национального и культурного достояния потенциального противника. Особенно активно при этом пользуются услугами разных эмигрантов и отщепенцев. Однако, когда дело касается чести и достоинства Отечества, даже самый отъявленный мерзавец способен на неожиданный поступок...

ISBN 978-5-4484-7878-9

© Семенов Ю. С., 1985

© ВЕЧЕ, 1985

# Содержание

Вместо пролога	6
Часть первая	8
1	8
2	10
3	14
4	17
5	21
6	23
7	24
8	27
9	29
Часть вторая	33
1	33
2	36
3	41
4	45
Конец ознакомительного фрагмента.	56

# **Юлиан Семенов**

## **Аукцион**

© Семенов Ю.С., наследники, 2008

© ООО «Издательство «Вече», 2008

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## Вместо пролога

Соответствующие службы страховой корпорации ДТ зафиксировали падение интереса наиболее престижных клиентов к аукционам, на которых торговали произведениями европейской культуры, чаще всего восточноевропейской, в первую очередь русской.

Электронно-вычислительные машины просчитали вероятный убыток; он исчислялся в два миллиона семьсот сорок семь тысяч долларов, не бог весть какие деньги, но вопрос не в них, а в тенденции.

Сектор анализа конъюнктуры заказал исследование этой проблемы Бруклинскому центру; среди возможных причин, объясняющих тревожный симптом, была названа и такая: в Европе появилась группа лиц, которая травит тех, кто приобретает, а равно и торгует произведениями культуры, похищенными во время прошлой войны.

Понятно, ни одна серьезная фирма, входящая в группу ДТ, не может идти на то, чтобы платить *полис* за краденое. Риск слишком велик, поскольку возможен удар по престижу, а это невосполнимо.

Проблема была запущена в работу, как всегда, в разных городах, в разных учреждениях, по разным людям...

Одним из тех, кого привлекли к исследованию этого путаного и странного дела, оказался Джос Фол.

На сорок четвертом году жизни он стал вице-директором компании АСВ (связи с ДТ весьма опосредованы, скрыты): оценка, закупка и страхование антикварных книг, картин и скульптур, выгодный бизнес. До этого в течение тринадцати лет Фол работал в «русском отделе» Центрального разведывательного управления США, ведал вопросами культурного обмена; окончил университет в Принстоне; во время массового движения хиппи в конце шестидесятых ушел из дома (отец был ведущим инженером консервного завода, мать держала салон красоты), поселился в «хиппарском» районе Гринвич Виллидж, снимал комнату вдвоем с Робертом О'Дэйвисом (тот уехал из Штатов, поселился в Риме, пьет, совершенно опустился, не смог найти себя; снимается в массовках), бранил президента Джонсона, рисовал лозунги «Люби, а не вой!»; потом увлекся девушкой; пришлось вернуться домой; женившись, начал подыскивать работу; человеком, который пригласил его в *систему*, оказался Александер, сосед по общежитию в Гринвич Виллидж (в прошлом был самым горластым противником Белого дома); проверили – после нескольких бесед в управлении кадров – довольно быстро, за семь месяцев; прошел курсы, потом работал как *дипломат* в Варшаве, Москве и Софии.

Именно он и затребовал – через частную детективную фирму ИТСА – данные телефонного прослушивания, которые были получены оперативным путем на вилле князя Евгения Ростопчина в Цюрихе и в доме Фрица Золле<sup>1</sup>, Бремен, ФРГ.

И тот, и другой часто звонили в Москву писателю и журналисту Дмитрию Степанову, обсуждали вопрос об исчезнувших коллекциях картин из музеев Ровно, Харькова, Киева, Риги, Курска и Смоленска.

*Техники* из специального подразделения, ведавшего расшифровкой кодов, со всей определенностью сообщили, что никаких *особых* слов ни Москва (Степанов), ни Цюрих (князь Евгений Ростопчин), ни Бремен (г-н Золле) не употребляли; интонация разговора, просчитанная на специальных компьютерах, свидетельствовала всего лишь о заинтересованности; какой-то особой нервозности, свойственной агентам во время полулегальных бесед или встреч, зафиксировано не было.

---

<sup>1</sup> Фамилии главных героев, звания и титулы несколько изменены, так, в частности, графа Ростопчина здесь называют князем.

Именно эти обстоятельства более всего озадачили Фола, и он обратился к председателю Совета директоров страховой корпорации ДТ с предложением: корпорация платит ему десять процентов от *вероятного* двухмиллионного убытка – в том случае, если он проведет такую операцию, которая будет гарантировать ДТ от самой возможности убытков такого рода.

Данные детективной фирмы ИТСА Фол подстраховал через друзей из ЦРУ; связей с Лэнгли не порывал; оказывал услуги; получал консультации и, в свою очередь, *наводки*.

## Часть первая

### 1

– Понятно вам? – в который уже раз настаивающе повторила Галина Ивановна, продолжая медленно и властно идти своим тяжелым взглядом по спине Степанова; ее мягкие ладони лежали у него на плечах; руки были сухие и очень горячие. – У вас были колики; левая почка и мочеточник никуда не годятся; давление меняется часто, особенно когда плохо с погодой и ожидается резкий слом на холод или жару... Понятно вам?

– Верно, – согласился Степанов, ощущая неловкость оттого, что женщина занималась им уже десять минут, а он молчал, никак не помогая ей, а это входило в противоречие с его жизненным принципом наибольшего благоприятствования работающему.

– У вас было сотрясение мозга, причем не один раз, – продолжала женщина, – понятно вам?

Было три, подумал он; в первый раз в сорок третьем, когда Земляк, маленькая двенадцатилетняя тварь с лицом старого алкоголика, столкнул его в подвал, на камни; второй раз это случилось в пятидесятом, когда он калымил на ринге, выгодное было дело: выходишь против перворазрядника, а у тебя третий, и весом ты на несколько килограммов поменьше; тебя крепко бьют, только успевай уходить от ударов, зато тренер перворазрядника платит тебе за это тридцатку, а в те студенческие годы тридцатка была деньгами; десять боев – вот тебе и туфли, чешские, из выворотной кожи, с дырочками на носках, шик; категория риска учитывалась и вполне поддавалась оценке: ты знал, на что шел, и, когда бугай из Филей повалил тебя в начале второго раунда в нокаут, ты был готов к этому; девятнадцать лет, до старости заживет, а – не заживает! Эх же Галина Ивановна умеет читать людские болезни, ай да кудесница! А когда же случилось третье сотрясение? Погоди, сказал себе Степанов, это было весной пятьдесят третьего, ты впрыгнул в троллейбус, родная «букашка»; последний троллейбус спешил по Москве, вершил по бульварам кружение, а ты шел от Ляльки с Божедомки и обернулся к кондукторше, тогда в каждом троллейбусе у входа сидела кондукторша, увешанная разноцветными рулонами с билетами – пять копеек, десять, пятнадцать, двадцать, в зависимости от дальности маршрута, вот макулатуры-то было, неделю поездишь в институт на трамвае и троллейбусе, и запросто насобираешь на Дюма или Дрюона; впрочем, в те годы о книжном буме и не слышали, откуда ему взяться, когда отдельных квартир почти не было, одни коммуналки, пять человек в одной комнате...

Степанов тогда протянул рубль и, ожидая сдачи, откинулся на дверь, блаженно откинулся, представляя себя со стороны, – молодой, крепкий, в пальто с поднятым – по моде тех времен – воротником, очень *стильно*, двоетолкуемо: либо Зигмунд Колосовский, был такой фильм Минской киностудии, который их поколение еще в сорок пятом смотрело раз по десять; герой антифашистской борьбы, обманывал нацистов как хотел, дурни, что они понимали вместе со своим бесноватым; либо Джеймс Кэгни из картины «Судьба солдата в Америке»; безработица, гангстеры, организованная преступность – одно слово, Нью-Йорк... Откинуться-то он откинулся, но старенькая кондукторша не успела еще дать команду водителю, чтобы тот закрыл дверь, и Степанов ощутил какое-то странное чувство стремительной неотвратимости, когда понял, что летит на асфальт, и увидел звезды в прекрасном весеннем московском небе, а потом все исчезло, и настала гулкая темнота. Уж после, очнувшись, он с каким-то тяжелым недоумением увидел над собою милиционера, который сокрушенно качал головой, говоря про то, что нехорошо с молодых лет допиваться до того, что на улице падаешь. Добрый был мили-

ционер, старенький, с медалью «За оборону Москвы», склонился над Степановым, удивленно протянул:

– И верно, не пахнет водкой-то...

Десять дней Степанов тогда лежал в больнице, в коридоре, возле окна; страшное ощущение радужности, несобранности мира, какой-то его зыбкости прошло, предметы снова сделались конкретными; и на этот раз пронесло...

– У вас одно сотрясение было особенно сильным, – продолжала между тем Галина Ивановна, не снимая своих горячих ладоней со степеновских плеч, – мне кажется, вы упали с большой высоты, и трещинка в черепе не заросла толком, так что бойтесь падений, гололеда, весенней грязи, крутых спусков; четвертое сотрясение может оказаться роковым, понятно вам?

– Понятно, – ответил Степанов. – А теперь объясните, как вы все это можете читать?

Женщина продолжала его осматривать еще с минуту, молча, тяжело, сосредоточенно, он чувствовал спиной взгляд ее голубых, прозрачных глаз, потом она чуть шлепнула его по плечам, руки убрала и сказала:

– Одевайтесь... Раньше я ничего этого не умела. – Улыбка у нее была настороженная. – До того, как меня стукнуло током в кабине моего крана, я была нормальным человеком. Отвезли в морг, это в пятницу было, а в понедельник пришли студенты, тренироваться, резать трупы, а один мальчик увидел, что я еще жива, в шоке... Полгода пролежала в госпитале, что-то у меня случилось со зрением, стала видеть предмет насквозь, в цвете... Как и полагается, мне не верили: колдунья, самозванка... Трудно и долго у нас приходят к вере в то, что не укладывается в привычные рамки... Ну а сейчас я в онкологическом отделении консультирую, работаю с врачами, понятно вам?

– Мешают?

– Теперь нет. Когда поставила десять верных диагнозов, начальство сказала, чтобы разобрались, с той поры все в порядке.

– А в каком цвете вы меня видите? – спросил Степанов.

– Смотря что... Незажившая трещинка на черепе видится бледно-розовой... Те два ушиба, которые я ощутила, наоборот, темно-красные, видимо, там что-то осталось после гематом, а вот сосуды мне кажутся перламутрово-голубыми, хотя я точно ощущаю цветовую разницу между артериями, сосудами, венами, капиллярами... Вы берегите себя, Дмитрий Юрьевич, – как-то странно, без перехода, жалостливо сказала женщина, – у вас сосуды ломкие и очень поношенные... Не по возрасту...

– И курить, конечно, нельзя? – спросил Степанов.

– Если неможете – курите. Выпить хочется – пейте, значит, так надо, организм сам себя регулирует... Вот только стрессов избегайте... Сплющит сосудик – и все...

– А как их избежишь?

– Так ведь я не колдунья, я мало чего знаю, я только умею ощущать чужую боль и цвета чувствовать, понятно вам?

До чего ж хитрая, подумал Степанов; впрочем, хитрость не предательство; как правило, хитрецы не предадут, чувствуя невыгодность самого факта предательства – оно обычно рискованно.

...Апрельская Ялта была прекрасной и солнечной; белая оторочка последнего снега делала Крымский хребет задником гигантской декорации; рыбацьи кораблики, втиснутые в свинцовую гладь моря, казались нереальными, крошечными; там сейчас, подумал Степанов, склянки быют, уху варят, музыку слушают и в кубрике спорят про то, кто выиграет – Каспаров или Карпов; какая разница, все равно свои, мы только чужим отдавать не хотим, а внутри Союза мы хорошие...

## 2

– Мужчина, – окликнул Степанова на аэровокзале молоденький милиционер, – вы что, не видите, здесь хода нет!

Степанов даже зажмурился от ярости, вспомнил Галину Ивановну: «Пить – пейте, курите себе на здоровье, только стрессов берегитесь»; а это что ж такое, когда вместо «товарищ» или, на худой конец, «гражданин», человек в форме обращается к тебе, словно к безликому предмету, – «мужчина»?! «Понятно вам?» – услышал Степанов интонацию Галины Ивановны, требовательную, атакующую, но в то же время снисходительную и всепонимающую: хороший врач должен иметь в себе что-то близкое к хорошему торговому работнику, который не тащит по черному, а норовит – при всех неразумных и порою неконституционных ограничениях – сделать свою работу красиво и с выгодой для обеих сторон...

– Я вам не мужчина, – ответил Степанов, понимая, что остановить себя не сможет уже, столько товарищей погибло, не за себя сделалось страшно – за память.

– А кто ж вы, – удивился парень, – не женщина ведь...

– Я – «товарищ»... Или «гражданин»...

Степанов понимал, что этот дурак просто-напросто не берет в толк то, что ударило его и оскорбило; чего ж тут обидного, мужчина он и есть мужчина.

Ах, как сладостно было слово «товарищ» в Берлине сорок пятого; или во Вьетнаме – «тунжи», или в Чили – «компаньеро», пока не пришел Пиночет и слово «товарищ» стало караться трехлетним заключением в концлагере, ведь оно – классово и исторично.

– Чему вас на политзанятиях учат, совестно, – продолжал Степанов, отдавая отчет, что говорит он не то, надо позвонить начальству, рассказать об этом, толковать же с этим типом – бесполезно...

– Это мы знаем, чему на политзанятиях учат, а вы свои документы покажите, мужчина...

– Ну, мерзавец, – сказал Степанов, – ну, сукин сын, пойдем в отделение, пойдем сейчас же!

И конечно же сосудик прижало; сердце замолотило в горле; все верно, человек человеку друг, товарищ и волк, как же таких дуборыл берут, как им дают форму, они же – надев форму – олицетворяют не что-нибудь, но власть?!

– Накажем, Дима, – сказал (в Москве уже, в министерстве) генерал Гаврилов; раньше был Сережей (впрочем, им же остался, слава Богу, нос не задрал), вместе учились, вместе выходили на ринг.

Наказать, однако, не удалось: с места на Степанова пришла телега, сработали мгновенно, мол, оскорблял сержанта, тот был корректен, а что «мужчиной» назвал, так разве ж это неверно? Мог бы – ненароком – и дедом, все, кому за пятьдесят, вполне могут быть дедами. А вот столичному гостю неприлично себя так вести, попусту кричать, а потом валидол сосать – наверняка хотел отбить запах водки, такого коллектив не простит, напишет письмо, сообщит по месту работы, потребует наказания.

Гаврилов тем не менее спустил дело на тормозах, попросив провести беседы с личным составом по поводу обращения к трудящимся. Никаких «мужчин» и «женщин», что за обезличка, право, только «товарищ» или «гражданин», и чтоб честь не забывали отдавать...

После разговора с Гавриловым, чувствуя разламывающую тяжесть в затылке (погода меняется, Галина Ивановна верно говорила, сосуды, как тряпки; только отчего перламутрового цвета, как-то не вяжется, перламутр ассоциируется с эластичностью), Степанов позвонил на киностудию. Он торопился из Ялты в Москву потому еще, что съемочная группа показывала материал, надо посмотреть и не сорваться, оттого что режиссеры поразительно цепляются за

каждый кадр, а любое замечание сценариста воспринимают, как вылазку пятой колонны, заговор против фильма. Забывают они, что ли, – ведь первой в титрах стоит фамилия сценариста; он придумал вещь, режиссеру она понравилась, приглянулись герои, фабула, диалоги, попросил право постановки... Странно, подумал Степанов, отчего-то всегда, после того как начинаются съемки, режиссер считает необходимым переписать диалог, заменить деда на бабушку (да здравствует Карел Чапек с его рассказами про то, как делается фильм, гениально!), ввести нового персонажа и жаловаться всем в коридорах студии, что он наново сделал сценарий, прежний был дерьмом. Зачем же тогда брался снимать?

– Дмитрий Юрьевич, очень вас ждем, – сказал заместитель директора съемочной группы (их три, заместителя-то: плати директору две зарплаты, ни одного зама не надо, прямая выгода, ан нет, не хотим шелохнуться, величаявая неподвижность, как бы не поколебать устоявшееся). – Просмотр материала назначен на восемь.

Режиссер – перед началом – нудно и бессвязно говорил про то, каким будет фильм, какова его сверхзадача, объяснял героев (будто бы не я их писал, подумал Степанов), мотивировал необходимость изменения сюжета; после пригласил в свою комнату; Степанов чувствовал, что говорит в пустоту, – когда у человека глаза похожи на те, какие бывают у вареных судаков, убеждать нет смысла; есть люди, которые верят только себе; они обречены на гибель в искусстве; раз повезет, другой раз обрушатся; чувство исключительности целые страны приводило к краху, не то что молодого режиссера.

...Вернулся домой в половине одиннадцатого, поставил кастрюлю с водой, – жидкий геркулес с оливковым маслом и протертым сыром – самая любимая еда, – просмотрел газеты, за время поездки в Ялту их скопилось множество; телефонный звонок испугал отчего-то – поздно уже; звонил Лопух.

– Здорово, старик, привет тебе.

– Добрый вечер, Юра... Как ты?

– Звоню, чтобы попрощаться.

– Куда уезжаешь?

– Да никуда я не уезжаю. Просто рак у меня.

Степанов прижал ухом трубку, прикурил сигарету (из Штатов перестали поставлять какую-то гадость для советских «Мальборо», крутись теперь, попробуй достать, а привычка – вторая натура, ничего не попишешь), тяжело затынулся:

– Да брось ты, Юра, какой, к черту, рак?! Неужели ты веришь эскулапам?!

– Старик, рак. Легких. И вроде бы желудка.

– Значит, надо оперироваться.

– Что я и собираюсь делать в ближайшие дни.

– И все будет в порядке.

– Верно. Я ведь не просто так в онкологию ложусь, я иду в атаку на старуху с косою, я за своего Дениску иду драться, он же еще маленький, а я должен его хотя бы пару лет опекать, как он без меня будет?! Я отношусь к врачам, как к союзникам, я им буду во всем помогать... Думаешь, я не понимаю, как много зависит от меня?! Я не боюсь, нет, Мить, и не потому, что дурак, у которого представления не работают, просто будет очень несправедливо, если что случится именно сейчас... Все-таки Дениске только одиннадцать, Катя выйдет замуж, а дети трудно привыкают к отчиму: или уж в самом раннем детстве, или лет в семнадцать, там армия, друзья, нет трагедии, нормальный ход...

– Погоди, Юра, погоди, ты что-то слишком рационально мыслишь для ракового больного... Потапова помнишь?!

– Какого? Игоря?

– Да. У него ведь тоже рак нашли, а потом оказалась вполне пристойная язва...

– Митя... Старик... Друг мой. – Лопух вздохнул наконец; потом закашлялся, тяжело, сухо. – Так ведь у него стрессов было поменьше, чем у меня...

Это верно, подумал Степанов, стрессов у Потапова было мало, растение, а не человек, главное, чтоб вовремя «бросить в топку», ел по минутам, а Лопуха, бедолагу, сняли с работы за то, что его заместитель оказался проходимцем, жена после этого ушла, ютился по койкам, пока Степанов не пристроил его на «Мосфильм», администратором; Лопушок вновь поднялся, доказав свое умение работать, стал директором, лихо вел картины, но внутри-то кровоточило постоянно, нет ничего горше, чем несправедливое наказание, вот его и шандарахнуло; одно слово, стресс, когда только и кто его придумал?! Ведь сам по себе факт существовал во все времена: кого любимый обманул – стресс; у кого коня увели – тоже; не первую ведь тысячу лет такое в мире происходит, а на тебе, *слово* изобрели совсем недавно, краткое слово, определяющее то, что угрожает каждому; стресс, и все тут, любому ясно...

– Кто тебя смотрел, Юр?

– Самые хорошие врачи... Я верю им абсолютно... И я не намерен так просто сдаваться, я буду бороться не на жизнь, а на смерть, как под Минском, в сорок четвертом...

Он же ветеран, подумал Степанов, ему тогда было семнадцать; в шестидесятых еще не было сорока, в семидесятых – пятидесяти, а в восьмидесятых – седьмой десяток пошел, рубеж, словно Рубикон, как же коротка жизнь, сколь стремительна...

– Юрок, я могу чем-нибудь помочь тебе, брат?

– А ты мне помог. Поэтому я и звоню, чтобы на всякий случай попрощаться, Мить. Я мало кому звоню, я только тем звоню, кто выдержал испытание на дружбу...

Каша подгорела, не говорить же Лопуху: «Подожди, я газ выключу, геркулес коптит», – нельзя такое говорить, когда с тобою прощается друг, сиди и смотри, как чадит кастрюля, и вспоминай то время, когда вы были молоды, ты – совсем молодым, а он – сорокалетним, только поседел в одночасье, резко сдал, боль в себе носил, как занозу... Любимая присказка была у него тогда: «Будем жить». Поди сочини такую, не сочинишь, это должно отлиться; неужели только боль дает ощущение истины в слове? Как-то несправедливо это; боль, подобно псам, цепляет за икры человечество, которое устремлено к счастью и радости, к любви и дружеству, не к страданию же, право?!

Впрочем, бабка Юры каждую субботу ходила на паперть просить милостыню, чтоб люди видели ее страдание, а Юра уже тогда был инженер-майором, посылал в деревню деньги ежемесячно, дом ей отремонтировал, кур купил и козу, так ведь показывала миру страдание, которого не было, а радость – от того, что внучек человеком стал, – скрывала. «От сглазу, что ль?» – спросил ее Юра. «Нет, – ответила бабка. – Он – терпел и нам велел, страдание – угодно, а радость – греховна, так нас батюшка в церковно-приходской учил, а батюшка злого не скажет».

...В одиннадцать позвонили из редакции; Игорь стал членом коллегии, вел иностранный отдел, попросил написать о Никарагуа.

– Надо бы в номер, – сказал он. – В Сан-Хосе взорвалась бомба, угрохало человек сорок, и предателя Пастору, говорят, ранило. Ну и «Свобода», ясное дело, покатила бочку на Манагуа... Так вот, не ранило Пастору, был спектакль, хорошо поставленный спектакль с трупами. Пастора отдал своих, тех, видимо, которые решили от него уйти. Сценарий старый, обкатанный, ты был и в Коста-Рике, и в Никарагуа, напиши, старик, материал в номер, а?!

– В номер не успею, – ответил Степанов, – а завтра сделаю, надо ж поднять материалы, как-никак Пастора был «команданте зеро». Делать очерк просто так, чтобы отписаться, – нет смысла, народ в Манагуа уж больно хороший, дело чистое, тут надо копнуть проблему предательства; Пастора ведь не сразу ушел, он поначалу был вместе со всеми, а потом посчитал себя обойденным почестями, темечко не выдержало славы; путь в термидор начинается в тот день и час, когда один из участников движения ощущает себя обойденным овациями и вместо местоимения «мы» все время слышит в себе грохочущее «я»...

Игорь усмехнулся:

– Ты что, против принципа выявления индивидуальности?

– Наоборот, за. Чем индивидуальнее каждое «я», тем крепче общество.

– То бишь «мы», – заключил Игорь. – Спасибо, старик, завтра жду комментарий.

– Ладно... И поговори с ребятами из отдела очерка, пусть подумают над материалом о том страшном обращении, которое родилось, – «мужчина» и «женщина».

– Так напиши сам! Они с радостью напечатают, вон ведь Солоухин предлагал восстановить «сударя» с «сударыней».

– Между прочим, я – за... Ты, кстати, Астафьева читал?

– Что именно?

– Его публицистику. «Мусор под лестницей».

– Читал.

– По-моему, великолепно. В моем прагматическом черепе родилась статья – ему в унисон – по поводу многочисленных идиотских «нельзя», которые страшны тем, что крадут у нас главное богатство общества – время. Почему оформлять покупку машины должен я и тратить на это день, принадлежащий государству, вместо того чтобы поручить это юристу или нотариусу, оплатив за услугу по государственному прейскуранту? Почему не открыть тысячу кооперативных бензоколонок, чтобы люди не простаивали в очереди часы, принадлежащие государству? Зачем не передать первые этажи под кафе, закусочные, бары, чайные, трактиры, дабы люди не выстаивали в очередях долгие часы, чтобы попасть в ресторан или кафе, а неудачники, которым так и не досталось места, не отправлялись гулять в подворотню? Кто мешает давать трудящимся землю в аренду? Ведь и у торга будут меньше требовать, и в субботу и воскресенье люди при деле, а не на диване или во дворе – при козле! Почему нет посреднических контор, которые бы помогли мне и в том, чтобы купить нужную книгу, сделать ремонт квартиры, построить домик на садовом участке, сдать на комиссию автомобиль? Это же экономия миллионов часов, а каждый час имеет свою товарную стоимость, потеря его – невозполнима.

– Покупаю тему, – вздохнул Игорь. – На корню. Готов доложить завтра на редколлегии. Как будет называться материал? «Удар по родному разгильдяйству»? Или «Реанимация родимого “тащить и не пущать”»? Подумай над заголовком, чтобы не очень пугать наших ретроградов.

В половине двенадцатого позвонила мама.

– Меня очень беспокоит Лыс, – сказала она сердитым голосом; «Лысом» называла младшую дочь Степанова. – Экзамены на носу, а у нее совершенно запущена физика.

– Мамочка, но в актерском училище физика не требуется.

– Ты не прав. Физика нарабатывает дисциплину... Надя ей во всем потворствует. Это все из-за того, что вы живете поврозь...

Степанов закурил снова, затянулся:

– Ну и что ты предлагаешь?

– У меня стенокардия. В больницу надо...

Господи, подумал он, как же мама любит лечиться! Она обожает придумывать себе болезни; сначала была бронхиальная астма, и лечил ее в конце тридцатых известный испанский профессор Банифаси, сбежал от Франко, жил в Москве, великий был врач; потом мама долго обследовала печень и желудок. Ей казалось, что у нее язва. Когда диагноз не подтвердился, была огорчена.

### 3

...Около трех ночи его разбудил звонок; сразу понял, что из-за границы, трезвонят, будто пожар.

– Привет тебе. – Голос князя Евгения Ростопчина был хриплым, видно, гулял, только только вернулся в свой замок: один как перст, бродит среди шкафов с книгами, статуй, gobеленов. – Я хочу обрадовать тебя сенсацией...

– Валяй...

Ростопчин рассмеялся:

– Боже, как по-русски!

– У тебя сейчас сколько времени?

– А бог его знает... Ночь.

– Значит, у меня утро.

– Ты сердишься? Не рад сенсации? Я к тебе пробивался целый час...

– Не томи душу, Женя...

– Мне сего дни звонил Фриц Золле. Он собирал документы о том, что картина Врубеля, которую выставляют на торги в Сотби, на Нью-Бонд-стрит, была похищена из музея в Ровно. Он подтвердил правоту милого Георга Штайна. Так что давай-ка бери самолет и прилетай в Лондон. Торги состоятся девятого мая, я остановлюсь в отеле «Кларидж», его хозяин, мой давний друг, экономия прежде всего, он меня держит бесплатно, как реликт – русский князь в отеле английской аристократии. Восьмого мая в десять часов жду тебя в лобби, там кафе, ты меня увидишь... Послушай отрывок из письма Врубеля... Сотби приводит в каталоге черновик: «Живу в Петергофе... Интересен один старичок; темное, как старый медный пятак, лицо с выцветшими желтоватыми волосами и в войлок всклокоченной бородой. Лодка его внутри и сверху напоминает оттенки выветрившейся кости; с киля – мокрая и бархатисто-зеленая, как спина какого-то морского чудища, с заплатами из свежего дерева... Прибавь к ней лило-ватого-сизовато-голубоватые переливы вечерней зыби, перерезанной прихотливыми изгибами голубого и рыже-зеленого силуэта отражения...» Какая прелесть, Митя, а?! Я вижу эту картину, она у меня вся перед глазами! В каталоге сказано, что к продаже приготовлена целая связка писем! О нем, Врубеле, и о Верещагине! Это же сенсация! Так что до скорого! Жду!

Он ждет меня восьмого мая в лобби, отель «Кларидж», Лондон, Англия, подумал Степанов, закуривая. А я должен найти редакцию, которая даст деньги на этот полет. Должен. Или вытрясти бабки из ВААПа, там что-то осталось на счете, куда переводят свободно конвертируемую, будь она трижды неладна. Черт, да о чем же я, право?! Нашли нашего Врубеля, а я о неконвертируемой... Нашли Врубеля... И письма...

### I

*«Милостивый государь Николай Сергеевич!*

*Безмерно рад был получить Ваше любезное письмо. Очень обрадовали Ваши слова о том, что мой обзор передвинут на второй номер. Как всегда, на мели, а хозяин мебелирашек господин сурового норову, скупердяй и аккуратист.*

*Был бы премного Вам признателен, посодействуй Вы срочной пересылке мне гонорара.*

*Теперь о новостях. Их множество!*

*Как всегда, Врубель играет в оригинальность. Он посмел прикоснуться своей кистью к стенам Владимирского собора, написал тьму эскизиков,*

*чушь несусветная! К счастью, заседала Синодальная комиссия, да и мы, ревнители православия, старины и традиции, загодя написали свое мнение по поводу бесстыдных выходов этого декадансного маляра, и ему ныне роспись запрещена. Слава Богу! На решение Синодальной комиссии повлияло и то, что сам по себе Врубель человек мерзостный, невоздержанный до спиртного, кривляка, раскрашивающий свое лицо то в синий, то в лиловый цвет, лишен всякой серьезности.*

*Судите сами: Васнецов, навестивший Врубеля у него в мастерской (стульев нет, одни табуретки да колченогий стол, все пропивает и прокучивает), увидел у него картину, которая весьма ему приглянулась. Не знаю уж, что там ему показалось, – сам-то Васнецов бо-ольшой оригинал и полнейший бесхребетник, воистину доброта хуже воровства, – однако немедля отправился к меценату Терещенке. Тот посмотрел «создание» и приобрел его.*

*Что ж сделал Врубель? Как бы поступил истинный художник на его месте? Купил бы краски, холсты, мебель, может, нанял бы другую мастерскую, оделся по-людски, а не в балда-хон, которым он поражает взоры киевлян... Так нет же! Непризнанный гений отправился в цирк, увидел там мадемуазель Гаппе, был покорен тем, как она дрыгает ножками, пригласил ее в ресторацию, поил самым дорогим шампанским вином, затем привел к себе в номер и там умолил ее позировать. А холста у голубчика не было. Так он всю Терещенкину картину, за которую деньги получил и пропил, записал этой самой циркачкой!*

*Ничего не скажешь, нравы! Даже его отец, полковник Врубель, из полячишек, а может, и того пожестче, говорил своим знакомцам, что новая работа, над которой мудрит его сыночек, в те короткие часы, когда не предается Бахусу, сера и безвкусна, а называется весьма претенциозно – “Демон”. Тянет их всех на великое, норовят разрушить образ Лермонтова, дорогой сердцу каждого русского! “Баба какая-то, а не Демон”, – сказал папа-Врубель. Верно сказал, хоть сам я не видел пока еще этого “шедевра”.*

*Этот “выученик” Чистякова (тоже мне, академик!) вообще не пишет с натуры. Попросит кого руку вытянуть, пять минут поводит углем по холсту – и все, спасибо, больше не нужно. А мы-то, ревнители прекрасного, все мечтаем про то, что на вернисажах будем видеть труд, правду, натуру, а не плоды воображения эстета. Эдак они Бог знает что навоображают, а нам смотри! Я совершенно не возьму в толк, почему Академия терпит все это! Видимо, как всегда на Руси, везде царит обман! Не мог же Его Высочество Великий Князь Владимир позволить такое! Не мог! Пользуясь тем, что Е.В. занят делами государевыми, времени для просмотра того, что малюют ныне, нету у него, пользуясь добротой его, возводят ложь в абсолют нашей культурной жизни. Когда я написал письмо в Академию, графу Толстому, ответ пришел для меня весьма горестный, мол, учтем, благодарны, а выводов никаких!*

*Я готовлю небольшую заметку (но, признаюсь, вполне едкую) про то чуждое, что несет в наше искусство Врубель и иже с ним. Коли вовремя не поставит на их пути плотину, не запретит прикасаться гнили к святому храму творчества, бог знает какие горести будут ждать нас, милостивый государь Николай Сергеевич...*

*Впрочем, благообразный Верещагин, чуждый застолий и Бахуса, вполне, казалось бы, русский (если нет только в нем татарвы), умудрился такую возвестить клевету на Русь и доблестное ее воинство своими “шипкинскими” гнусностями, что не приходится удивляться глумлению Врубеля над Православными Святынями Киева.*

*Прямо-таки какой-то бомбардирский залп против традиций искусства и устоев нашей Православной морали.*

*Дай, Бог, долгой жизни Спасителю и Заступнику Победоносцеву, без него тьма опустится над Россией, распутство и грех.*

*Он соизволил любезно ответить на мое письмо. Идею коротких заметок супротив декадентов, вроде Врубеля, поддержал всячески, заметив, что всепрощение только тогда возможно, когда нет пощады духовному нездоровью.*

*Думаю, Врубель поедет после моих коротких заметок. Спасив весьма, гонор-то ляха, они беснеют, ежели супротив шерсти погладить... Безденежье он легко переносит, о доме не думает, порхает по жизни, весел, общителен, любимец «общества», а вот мой удар запомнит надолго. И – поделом! Такого рода удары людей покрепче, чем он, ломали. Подкосится... Я не злобливый человек, Вы это знаете, мне, признаюсь, даже жаль его, по-людски жаль, но ведь истина-то дороже!*

*Остаюсь, милостивый государь Николай Сергеевич, Вашим покорнейшим слугою*

*Гавриил Иванов-Дагрель.*

*Р. С. Низжайший привет Вам от моей Татьяны, она в восторге от Ваших последних статей в Московской повременной печати, а также рецензий у Суворина в “Новом времени”. Кланяются Арсюша, Миша, Федя и Лариоша.*

*Р. Р. С. Я намерен отправить письма старцам в Академию, тем, кому ненавистно все то, что Вам ненавистно и мне. Пусть выйдут из своих ателье, посмотрят воочию, что и кто поднимает в живописи голос и голову. Думаю, это подвигнет их к действию. К их мнению Е.В. прислушается, совершенно в этом убежден».*

## 4

Прочитав копию очередного перехвата телефонного разговора Степанова с князем, Джос Фол отправился в служебную библиотеку, подошел к любимой своей полке, где стояли справочники «Кто есть кто», достал Энциклопедический словарь, изданный в Москве, открыл двести двадцать пятую страницу и внимательно прочитал заметку о Врубеле Михаиле Александровиче, 1856 года рождения, русском живописце, произведения которого отмечены декоративностью и драматической напряженностью колорита, «кристаллической» четкостью, конструктивностью рисунка; тяготел к символично-философской обобщенности образов, нередко принимавших трагическую окраску... Иллюстрировал «Демона», сделал росписи Кирилловской церкви в Киеве; произведения прикладного искусства, близкие к стилю модерн...

Фол не поленился открыть восемьсот двадцать восьмую страницу того же Энциклопедического словаря и посмотрел разъяснение по поводу модерна, из коего явствовало, что это стилевое направление было типично для европейского и американского искусства конца прошлого – начала нынешнего века... Стремясь преодолеть эклектизм буржуазной художественной культуры, модерн использовал новые технико-конструктивные средства и свободную планировку необычных, подчеркнуто индивидуализированных зданий, все элементы которых подчинялись единому орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу (Х. ван де Велде в Бельгии, Й. Ольбрих в Австрии, А. Гауди в Испании, Ч.Р. Макинтош в Шотландии, Ф.О. Шехтель в России). Изобразительное и декоративное искусство модернистов отличают поэтика символизма, декоративный ритм гибких, текучих линий, стилизованный растительный узор...

На этой же странице, только чуть ниже, модернизм определялся как общее направление искусства и литературы (кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство и т. п.), отражающее кризис буржуазной культуры и характеризующееся разрывами с традициями реализма...

Вернувшись к себе, Фол довольно долго листал старые записные книжки, потом достал из нижнего ящика стола специальные альбомы для визитных карточек (на каждой стояла дата, краткая характеристика человека, вручившего ее, и, конечно, город, улица, номер дома), отобрал тот, который был укомплектован именами и фамилиями критиков, экспертов по живописи, репортеров, освещавших наиболее интересные аукционы произведений искусства, проводимых лондонской фирмой «Сотби», медленно перебрал каждую страницу, заставляя себя вспоминать лица людей, заложенных в это его личное досье, и, наконец, отложил три визитки: Мишель До, обозреватель «Ивнинг пост» по вопросам театра, кино, телевидения и живописи, работал в Праге, Лондоне, Берне, Москве; жгучий брюнет, лет сорока, нет, сейчас уже больше, познакомились в позапрошлом году; хороший возраст, время выхода на финишную прямую, никаких шараханий, устоявшаяся позиция; Юджин О'Нар, владелец картинной галереи «Старз», и Александр Двинн, посреднические услуги при страховании библиотек, картинных галерей и вернисажей, устраиваемых крупнейшими музеями мира.

Мишеля До, однако, ни в Вашингтоне, ни в Нью-Йорке не было, телефонный автомат-ответчик пророкотал голосом журналиста, что тот вернется в конце недели, сейчас отдыхает на Багамах, просит оставить свой номер, позвонит немедленно по возвращении в конце этой недели.

Юджин О'Нар был на месте; предложение поланчевать принял сразу же; уговорились встретиться в рыбацьем ресторане на берегу Потوماка, прекрасная кухня, тихо; Александр Двинн попросил назначить ужин на девять; у меня люди из Прадо, объяснил он, возможен вернисаж Эль Греко, идет трудный разговор о том, как транспортировать картины – самолет или корабль, все доводы о том, что корабли тонут чаще, чем бьются самолеты, на людей из Мадрида

не действуют, что вы хотите, потомки Колумба, мореплаватели, отсталая нация, отпрыски инквизиции и Франко, живут представлениями начала века...

После этого Фол поднялся в досье, запросил все данные на русского художника Врубеля, 1856 г. р. (помимо, естественно, информации из справочников), на членов его семьи; живут ли в России, на Западе ли, если да, то где; особенно выделил вопрос о том, не был ли Врубель связан с большевиками, подобно Маяковскому (он понимал, что этот вопрос наверняка вызовет ироническую улыбку заместителя шефа подразделения информации, ничего, пусть улыбается, улыбка – не укус, можно пережить, русские – люди непредсказуемые, их суть определяют таинственные пересечения, непонятные прагматической логике западного человека; только там бизнесмен Морозов мог давать деньги на революцию, причем не кому-нибудь, а людям Ленина; смешно даже представить себе, чтобы наш Рокфеллер или Морган давали деньги бунтарям), и наконец сформулировал последний вопрос таким образом, чтобы получить исчерпывающий, однозначный ответ: действительно ли Врубель представляет для русских историческую, художественную или иную любую ценность, и если да, то почему?

По прошествии мгновений зеленоватый экран телевизора-ответчика засветился своим окающим, пугающим светом, забили молоточки ЭВМов, *отстучав* два слова: «нет информации».

И все. Никаких иллюзий, будь проклята объективность техники; нет ничего слаще и надежнее людских *слухов* и *мнений*, их бы запускать в компьютеры, и не только на дипломатов и разведчиков, но и на модернистов; пусть надо мною смеются, перетерпим, все великое начинается с мелочи, как, впрочем, и все великое кончается малостью.

Юджин О'Нар носил в петличке темного пиджака (шил только в Париже) розетку какого-то странного ордена (скорее всего ливанского); причесывался каждое утро у парикмахера, хотя давно уже начал лысеть, как-никак семьдесят два; суждения его были безапелляционны и поучающи.

– Послушайте, Джос, хитрить со мною вам не по плечу, я учился хитрости, когда меня бросали с парашютом во Францию, в сорок третьем. Да и кроме того, я ирландец, я не «мак», то есть «сын», я «о» – О'Нар, то есть «внук», это еще престижнее. За мною предки – пять столетий борьбы против британских оккупантов. Мы из Ольстера, умеем не только гранаты кидать, но и вступать в необходимые для родины коалиции, будь то король Испании или двор Людовика, читайте историю... Ergo: говорите правду. Что вас интересует конкретно? У вас хорошие связи, а это в наше время ценнее денег, я помогу вам, но при условии: игра в открытую.

– Я люблю втемную только в покере, Юджин. Я действительно интересуюсь русским художником Врубелем, его письмами, покровителями, коллекционерами, отношением к нему в мире живописцев...

– Станный интерес... к странному художнику... Это русский Ван Гог. Врожденная маниакальность; родовая травма или дурная наследственность... На аукционах идет довольно неплохо... Хотя, на мой взгляд, краски его несколько странны, словно у человека, который может кричать, но от страха лишился голоса... Размеры его живописи впечатляют, но в полотнах заключена какая-то нервность... Очень нравилось семейству Клайфердов, он-то наш, а жена то ли из Киева, то ли из Москвы. Они покупали его полотна в Париже и Женеве. Кажется, году в семьдесят третьем или пятом, могу ошибиться, цена была пристойной, но не сумасшедшей, как на Пикассо. Что-то восемь тысяч долларов к продаже. Торги дошли до пятнадцати, не более того. Да, пятнадцать, Клайферды уплатили пятнадцать, я получил эту информацию от Саймонза, он тогда ставил на русскую живопись, хотел собрать коллекцию для Штатов.

– Коллекцию одной лишь русской живописи?

– Да.

– Резон?

– Какой-то фонд, из тех, что работает на Центральное разведывательное управление, обещал ему поддержку. Видимо, политическая акция, ставка на обиженных и гонимых в России...

– Отчего же он не купил Врубеля?

– Он не смог купить не только Врубеля, но и Рериха, Пастернака-отца, Малявина... Все-таки фонд – это фонд, а банк Клайфферда располагает большими возможностями, когда речь идет о приобретении тех картин, в которых заинтересована мадам...

– А как ценится Врубель в России?

– Джос, я ничего не знаю про эту страну, кроме того, что там правят коммунисты... Я пытался начать бизнес с их художниками, которые уехали на Запад, но из этого ничего не получилось.

– Отчего?

– Странные люди... Вы вообще-то знаете, как мы создаем художника?

– Нет.

– Объясню. Вы, как дипломат, занимавшийся вопросами культуры, должны понять систему создания имен в искусстве... Итак, мне сообщают, что в некоем городе появился талантливый молодой – обязательно молодой, – или, на худой конец, совершенно не приспособленный к жизни художник. Естественно, никто у него ничего не покупает, нет денег на квартиру, на краски, на холст и на аборт спутнице жизни.

– Если талантлив, отчего не покупают?

– О том, насколько он талантлив, мне скажут эксперты, занимающиеся ситуацией на рынке. Если меня убедят, что конъюнктура в нашу пользу, я поговорю с людьми прессы. Затем начну зондаж моих клиентов из мира большого бизнеса, которые строят новые дома и хотят иметь свою живопись. Лишь после этого я вызову художника и предложу ему договор: я снимаю тебе, молодой Рубенс, ателье, плачу за страховку, краски, холсты, электричество, воду, телефон, еду, а ты за это отдаешь мне свою живопись... Всю, целиком. Если он согласится – а он согласится, ибо безвыходность жизненной ситуации толкает на все, – мы оформим наши отношения у юриста, срок – три года, не меньше, мне это влетит в пару тысяч долларов за месяц, талант стоит того, семьдесят две тысячи долларов за три года, да плюс еще тысяч десять прессы и не менее двадцати – телевидению...

– Для рекламы?

– Конечно... И пару тысяч на организацию слухов по поводу нового гения. Кстати, самое эффективное в рекламе – именно это, хотя стоит дешевле всего остального.

– А как вы организуете слухи?

– Очень просто... Устраиваю коктейль по поводу приезда в Вашингтон великого испанского ученого, сводного брата Сальвадора Дали...

– Но у Дали нет сводного брата...

– Спасибо за уточнение, я это знаю лучше вас... Нанимается испанец, какой-нибудь старый актер, показывается приглашенным меценатам, говорит, что Сальвадор в восторге от моего подопечного, гений, потом его быстренько накачивают виски и уводят почивать в отель, а мои сотрудники начинают выдавать тайну об этом молодом гении, который вот-вот завоюет Европу; качественно новый стиль; надо покупать, пока не взвинтили цены до уровня шагаловских; «старый черт, – это я, как понимаете, – никому его не показывает, бережет, хочет сделать бизнес»... Шар запущен. Мне начинают звонить. Я отрецивляюсь, говорю, что речь идет о человеке, которого еще надо опробовать на вернисаже, нет смысла продавать товар, не прошедший оценки прессы и экспертов, – словом, темнью... Но интерес уже проявлен. Слух обрастает мясом, наступает время устроить вернисаж и организовать три статьи – одну разгромную: «хулиганство от искусства»; другую восторженную: «старый ирландец вновь открыл талант, цены невероятны, по самым приблизительным подсчетам, картина размером семьдесят сантиметров на сорок пять идет за десять тысяч»; и третью, самую главную, в которой

будет сказано, что шараханье из одной крайности в другую чуждо свободному обществу, мы не должны ни захваливать, ни хулить чрезмерно, однако, объективности ради, стоит заметить, что новый художник конечно же через два-три года станет украшением лучших музеев мира, поэтому, видимо, стоит ожидать торгов на его полотна для наиболее престижных коллекций, потом будет поздно, все разойдется по частным собраниям. Это – мой пассаж, как понимаете; бьет без проигрыша. Десять банкиров, которые купят работы нового гения, вернут мне с лихвой все то, что я затратил на него за три года... Пару лет он будет моим, потом выпорхнет из рук, Бог в помощь... Гений создан, да здравствует гений! Меня он больше не интересует, бизнес кончен, на вложенную единицу капитала я получил куда больше, чем пять процентов, а по Марксу, даже это сверхприбыль...

– Поразительно, – улынулся Фол. – Индустрия, истинная индустрия. А отчего у вас не вышло с русскими?

– Один просто-напросто убежал со своими картинами... Сейчас его ищет полиция... А три других спились... Я поселил их в одном доме, думал, как лучше, так они начали писать доносы консьержке, кто к кому баб водит с Пигаль. Они ж в Париже обосновались, я туда к ним летал. Склока, жалобы друг на друга, не хватило нервов, пришлось списать десяток тысяч; цена риска, ничего не попишешь, такова жизнь.

## 5

В отличие от старого ирландца Александр Двинн, видимо, догадывался, что Фол никакой не дипломат; это его радовало, потому что большинство своих деловых операций он проводил в Европе, а люди типа Фола располагают прекрасным информационным материалом; что ж, услуга за услугу, как это принято в бизнесе; вполне достойная сделка, спина прикрыта.

Выслушав вопросы Фола, он моментально просчитал самую выгодную для себя линию поведения – на это ушли шестнадцать секунд, пока он доставал из кармана зажигалку («Пьер Карден»), сигареты («Честерфилд» без фильтра), прикуривал и делал первую затяжку.

– Врубель, конечно, интересен, но об этом на Западе знаю я да еще пара специалистов. С какой точки зрения он интересен? Во-первых, то, что его сейчас чтут в России, весьма симптоматично, – раньше замалчивали. Он ведь церкви расписывал, и на определенном этапе его отнюдь не поощряли. Теперь они поуменьли и научились отделять злаки от плевел, мистику от искусства, а может быть, даже синтезировать оба эти понятия. Во-вторых, Врубель и поныне является неким инструментом в схватке традиционалистов и новаторов. Как вы заметили, обе эти позиции носят политический оттенок. Вас ведь интересует именно этот аспект проблемы?

– Отнюдь, – сказал Фол, сразу же поняв, что собеседник уловил фальшь в его ответе; глупо; с этим надо в лоб, интуиция, как у бабы, ничего не скроешь. – Меня интересуют все позиции, связанные с этим художником.

– Тогда, вероятно, стоит построить нашу беседу таким образом, чтобы вы спрашивали, а я отвечал. Не находите?

– Если бы я знал, что спрашивать, – вздохнул Фол. – Друзья, занятые проблемами математики, объяснили мне суть революции, произошедшей в их науке; если раньше высшим достижением являлось получение однозначного ответа, то теперь смысл математики заключен в том, чтобы расчленив задачу на тысячу вопросов, засадить их в компьютеры и считать оптимальные ответы... Проблема выбора, очень актуально...

– Врубель ныне популярен в России, на Западе он практически неизвестен, – кивнув, продолжал Двинн. – Вообще мы сейчас переживаем определенный спад цен на рынке живописи: абстракционисты практически кончились, их берут только для дизайна в тех виллах, которые строят на берегу океана, с широкими окнами без рам; кто-то, конечно, готовит новых гениев, но на это уйдет года три-четыре, надо понять тенденции среди тех, кто готов платить деньги... Точнее говоря, надо поначалу сформулировать и донести эти тенденции до них; процесс, как понимаете, непростой, дорогостоящий... Дали и Пикассо, считайте, умерли; попытка поставить на русских изгнанников себя не оправдала; Возрождение разошлось полностью, в продаже циркулирует всего десяток работ Тинторетто, Боттичелли и Мурильо...

– «Возрождение разошлось полностью», – повторил Фол. – Трагическая фраза... С какого времени вы берете точку отсчета? Какой век?

– Век нынешний, точка отсчета – конец сороковых годов, когда на аукционы стали вываливать сокровища Возрождения и русской иконописи; циркуляция трофеев, хаос в мире, отсутствие точного учета похищенного нацистами в коллекциях Парижа, Италии, Чехословакии, России. Власть предрержащие той поры думали, как накормить людей и поднять Европу из разлухи. А уж когда напились и наелись, снова стали мечтать об искусстве; бытие определяет сознание, мой единокровец сформулировал, умница...

– Скажите, а активность русских на аукционах вы когда-либо наблюдали?

– Их интересуют письма Маркса и Ленина. Но, видимо, они ограничены в средствах, часто проигрывают торги...

– А кто перекупал письма Маркса и Ленина?

– Мы.

– Кто именно?

– Стэнфордский центр войны и революции, их крепко поддерживают...

– Кто их поддерживает? – спросил Фол и сразу же понял, что сделал ошибку, потому что Двинн усмехнулся, покачал головой и стал раскуривать вторую сигарету.

Ответил он после долгой паузы, изучающе осмотрев руки Фола, особенно его ногти: подстрижены очень коротко, хотя, сразу заметно, в салоне косметики и гигиены, в дорогом салоне, форма выдержана абсолютно.

– Поддерживают мудрые люди, подобные вам, мистер Фол, кто ж еще.

– Видимо, вы правы, – ответил Фол, понимая, что этот его ответ понравился собеседнику, – хотя у меня нет доказательств.

– Кому они нужны? Правильно делают, что поддерживают. Стэнфорд того стоит, умным надо помогать, на них сейчас надежда.

– Я тоже так считаю. Полное совпадение взглядов.

– Иначе нет смысла говорить, если нет совпадения взглядов.

– Увы, мне чаще приходится иметь дело с теми, чьи взгляды совершенно не совпадают с моими.

– Сочувствую. Формулируйте вопросы, мне приятно быть вам хоть в чем-то полезным... И запишите фамилию: Грешев Иван, живет в Лондоне; Челси, Холливудруд, возле лучшего китайского ресторанчика «Голден дак»; без почтового индекса в Лондоне запутаешься, так что запишите: эс дабл-ю десять девять эйч ай. С Грешевым надо заранее списываться о встрече, он поразительный знаток русского искусства конца прошлого века, его информация абсолютна.

## 6

Вернувшись в офис после ужина, Фол попросил дать ему новую информацию – если она, понятно, поступала – на Фрица Золле; написал телеграмму в гамбургское представительство (работает «под крышей» Немецко-американского института по «исследованию проблем океанского судоходства», охватывает регион от Бремена до границы с ГДР), в которой сформулировал аспекты своего интереса к Золле, затем набросал план завтрашнего разговора с шефом и лишь после этого поехал домой.

...Председатель Совета директоров выслушал Фола внимательно, с улыбкой, поинтересовался:

– На самом деле вы слабо верите в возможность русской шпионской сети? Я имею в виду группу Степанова, Золле, Ростопчина. Признайтесь, Джос, вы же не верите?

– Слабо верю. Но я не отвергаю такого рода вероятия.

– В конечном счете нашу фирму не очень-то волнует шпионаж, даже если бы он и был. Пусть себе, только б не мешали нам работать с корпорацией ДТ.

– Пусть себе, – кивнул Фол, – согласен.

– Хочется прокатиться в Европу?

– Нет. Я там был прошлым летом. Я устаю от Европы. Лучше всего я чувствую себя в этой стране... Просто-напросто альянс красного писателя с русским аристократом, живущим по швейцарскому паспорту, глубоко верующим, и немецким историком представляется мне более опасным, чем шпионская сеть...

– «Третья корзина» в Хельсинки и все такое прочее? – вздохнул председатель совета. – Что ж, хорошо думаете. Такого рода контакт конечно же беспрецедентен, а потому любопытен для нашего бизнеса. Когда намерены лететь?

– Я доложу. Главное, что вы поддержали меня, спасибо...

7

Редактор, старый знакомый, Андреев, выслушав Степанова, покачал головой:

– Митя, побойся Бога, о чем ты?! Мы съели все наши валютные запасы в первом квартале. Я отправлял Игоря на Ближний Восток, а Ваню в Латинскую Америку... Я могу финансировать твою поездку в Лондон только осенью.

– Но ты ведь понимаешь, что мне не нужен Лондон осенью?! Он нужен мне в мае, в начале мая, я ж объяснял тебе! Клянусь, материал будет сенсационным.

– Можешь не клясться, я тебе верю на слово. Ты вольный художник, ты не знаешь, что такое план и смета, ты не имеешь представления о режиме валютной экономии.

– Сам просился в это кресло, – ответил Степанов. – Мог бы сидеть дома и писать книги.

– Не доставай, Митя, не надо. Если у меня что-либо получится с фунтами, я позвоню тебе. Ты сейчас где обитаешь?

– В мастерской, где ж еще...

– С Надеждой в разводе?

– На Западе это называют: «живем сепаратно».

– Большой ты мастер на формулировки, Митя...

Как же он изменился, подумал Степанов, наблюдая за тем, как Андреев метался от одного телефонного аппарата к другому; голос менялся в зависимости от того, кто звонил; пятьдесят четыре года, а с начальством говорит, будто школьник; но ведь это не всякому начальству нравится, – рано или поздно глупых начальников все-таки погонят; и с подчиненными не надо б так уж иронизировать; поддевать можно равных, тех, кто ответит тем же; ты б начальство поддевал, так ведь нет же, стелешься. Доктор наук, писатель, публицист... Неужели поддался вирусу чиновничества? Жаль, Поначалу-то оправдывал себя тем, что «не надо пускать на ключевые посты дрянью». (Верно, кто спорит, их только пусти – с нашей-то демократией, – потом не снимешь, надо трудоустроить, и чтоб все было так же хорошо с зарплатой, и чтоб блага и машина...) Но, судя по тому, как и с кем он разговаривает, бывшие добрые намерения уступили место суровым будням, жизнь есть жизнь, она мнет человека под себя, ломает, как хлеб, стоит лишь пойти на сделку с совестью в самой малой малости.

Степанов вспомнил, как они познакомились с Андреевым четверть века назад; в мазохизм потянуло, сказал он себе, обязательно «четверть века», не мог разве употребить спокойное слово «давно»? Андреев был тогда душой компании; никто так не умел вести застолье, танцевать, шутить, как он; никто не умел так поджарить бараньи ребрышки, взятые за бесценок в «кулинарии», или сварить пельмени; никто не был так щедр в советах и помощи...

Потом он надолго уехал за границу; вернулся; встретились в Доме журналистов, Андреев достал какую-то мудреную книжечку (Степанов раньше таких и не видел), перебрал пару страниц, пояснив, что это «дневник» – расписание встреч, звонков, памятных дат (не забыть, кого и когда поздравить), сказал задумчиво, что послезавтра в семнадцать тридцать у него есть «окно» и он был бы рад выпить со Степановым чашку кофе.

Степанов ощутил какую-то холодную пустоту: перед ним был Андреев – прежний, красивый, лысеющий, резкий в движениях, но в то же время это был совершенно другой человек, записывающий дату встречи с другом в «дневник», в то «окно», которое свободно от деловых свиданий и *нужных* звонков.

Степанов тогда еще подумал: «А может, он и раньше был таким, просто был вынужден *играть* роль рубахи-парня?» Сразу же одернул себя: «Ты не смеешь так думать о том, кого называл другом; обида – плохой советчик в человеческих отношениях, но, с другой стороны, человек, не умеющий обижаться, есть явление злобное; приспособленец и конформист».

– Завтра созвонимся, – сказал Андреев.

- Когда?
- Вечером.
- Конкретно?
- Возле десяти, идет?
- Буду ждать.

На телевидении посмеялись:

– Товарищ Степанов, у нас же в Лондоне сидят корреспондент и оператор! Мы могли бы послать вас туда, где нет наших людей... Да и то надо все это обговорить в начале года, когда утверждается план поездок...

– Но в начале года никто не знал, что аукцион состоится в Лондоне... И что на нем будут торговать Врубеля. Того, который – вполне возможно – был украден в одном из наших музеев.

– А сколько он стоит? Тысячи. Откуда деньги? Кто даст?

– Это моя забота.

– То есть?

– Моя забота, – повторил Степанов, – не хлебом единым жив человек. Есть на земле добрые души, которые радуют о русском искусстве не словом, а делом...

В Госкино предложили командировку в Лондон на второе полугодие, – вопрос отпал сам по себе; в Министерстве культуры назвали Эдинбургский фестиваль, сентябрь, очень интересно, съезжаются лучшие музыканты мира, попробуем включить в делегацию.

Степанов слушал собеседников, а в ушах его звучал голос Ростопчина: «Приезжай восьмого вечером, жду в холле отеля “Кларидж”, это совсем неподалеку от Нью-Бонд-стрит, именно там в Сотби станут торговать Врубеля и других русских художников, будем сражаться».

... Во Внешторгбанке девочки-операторы выдали справку: на его счету, куда ВААЛ переводил деньги западных издателей, осталось сто двадцать долларов; при том, что отель в Лондоне стоит не менее сорока долларов, а ужин в самом дешевом ресторане, китайском, потянет десять, пускаться в *предприятие* довольно рискованно.

Стоп, сказал себе Степанов, вернувшись домой; не пори горячку; не паникуй. У тебя еще есть время. Езжай на Тишинский рынок, купи творога, зелени, сметаны, устрой царский пир, достань записные книжки и толком подумай, кто может тебя поддержать. Не надо смотреть записные книжки, возразил он себе: там еще есть телефоны Левона Кочаряна, Романа Кармена, Володи Высоцкого, Сани Писарева, Славы Муразова, Олега Даля, Виля Липатова, Господи, сколько же друзей ушло, а телефоны остались; самое страшное – звонок в пустоту.

(Он отчего-то явственно вспомнил, как хоронили режиссера Ивана Пырьева; после гражданской панихиды Марк Донской поцеловал его в лоб и тихо сказал:

– До свидания, Ваня.)

... Степанов ощутил усталость в теле и понял, что не станет натягивать кеды, и не побежит свои обязательные километры, и снова будут холодеть руки и ноги, и появится туман в голове.

Но он все-таки заставил себя поехать на Тишинку; куплю мацони, яиц и помидоров, попрошу в закусочной крупной соли, разложу все это на газете, постою за трапезой, столь любимой ранее, и посмотрю на рынок.

Он прошел по рядам; в кооперативной палатке продавали старую картошку, но никто не брал ее, предпочитали хоть и дороже, но взять у колхозника свежую; страшная это штука – девальвация доверия. Инфляцию можно остановить, коли не бояться инициативы и контролировать самих себя рынком, а вот как задержать девальвацию доверия?!

Торговля была ленивой; не было перебранок, ажиотажа в битве за копейку; вопрос – ответ; великая скука, ленивая деловитость. И никогда я не смогу понять, отчего милиция

гоняет на Кавказе старух с горячей кукурузой?! Ну почему?! В Таганроге теснят дедов с воблой, в Индюке – бабок с алычой; в Понырях, которые всегда славились картофелем, оттирают молодых с кошелками, но зато разрешают продавать соленые огурцы или сливу. Почему?! Законы страны «нельзянии»? Щедринское – «не дам, не пушу, не позволю»?! Не пора ли переиздать классика и заставить читать его вслух не только на уроках в школе, но и в исполкомах и сельсоветах, – тогда меньше будут катить бочек на нас; все это уже было, до нас было, в прошлом веке, до ужаса похожее, кого ж в этом винить?!

...И хотя было солнце и день обещал быть славным, не было Степанову радости на Тишинском базаре, не было ощущения предстоящего праздника. А ведь каждый день мог бы быть праздничным, таким нежным, таким *завтрашним*, как нигде в мире (самые праздничные дни, пожалуй, были на Николиной горе, в сентябре того далекого года, когда Степанов впервые увидел Надю, но они еще не принадлежали друг другу по жестоким людским законам, следовательно, не имели *прав* друг на друга и не смели задавать вопросы, похожие на те, что задают следователи, призванные поймать и изобличить, а могли только беседовать о прошлом или мечтать о будущем.

Когда же в любви появляется собственник? Когда начинается драка за *обязательность* своего?).

## 8

... Федоров пришел в новую газету с первой «командой»; пересидел всех редакторов, стал наконец шефом, быстро обрел «начальственную форму» и поэтому слушал Степанова с плохо скрываемым раздражением; передвигал на большом полированном столе приборы, то и дело поправлял стопку бумаги, ровняя ее так, словно бы готовился продать придирчивому клиенту, а потом все же не выдержал, прервал:

– Слушай, Дмитрий Юрьевич, давай-ка я внесу тебе встречное предложение, а?

– Давай, – согласился Степанов, поняв уже, что он зря пришел сюда.

– Хочешь, я дам тебе командировку на Кубань? В Сибирь? На Ставрополье? Напиши о посевной. Или о том, как решается дело с культурным охватом тружеников полей. О новом в сельском строительстве. О бригадном подряде. Наконец, о нерешенных проблемах экономики.

– Ладно, – легко согласился Степанов. – Напишу. А ты съезди в Лондон и постарайся вернуть Врубеля. Уговорились?

– Пусть этим делом Министерство культуры занимается, это им вменено в обязанность. Им, а не тебе. И не мне.

– «Вменено в обязанность», – повторил Степанов. – Каждому человеку вменено в обязанность то, что он, как гражданин, считает долгом себе вменить. И никак иначе. Если иначе, то дров много наломаем; хватит, наломали уж, когда ждали вменения обязанностей сверху, директивно. Что касается проблем села, то я – увы, не специалист – вижу один и тот же вопрос сугубо нерешенным и в промышленности, и в науке, и на селе: недоверие к руководителю, мелочность опеки, страх перед заработком, оппозиция инициативе. Если руководитель сможет платить хорошему рабочему премию не в сумме семи рублей десяти копеек, а тремя, пятью зарплатами, если он получит право держать столько рабочих, сколько нужно делу, а не по штатному расписанию, для удобства статистической отчетности, если инициатива будет *гарантирована* законом о *трудовых* доходах, только тогда мы пойдем вперед – воистину семимильно.

– Ты зря сердисься, товарищ Степанов. Не обижайся, но я действительно считаю литературу о рабочем классе, о селе ведущей. Остальное – гарнир. Нужный, не спорю, но – гарнир.

– А я полагаю, что важнее всего литература для рабочего класса и крестьянства. Ты не считай рабочий класс приготовишкой от культуры. Ты верь ему, а не клянись им. Он сам разбирается, какая литература ему нужна, а какая – нет. Послал бы своего корреспондента на книжный рынок, там бы и можно было узнать, какую литературу втридорога покупает рабочий, а какую тащит на макулатуру.

Федоров откинулся на спинку стула, прищурился, впервые посмотрел прямо в глаза Степанову:

– Ну и какую же тянет на макулатуру?

– Спекулятивную.

– Это как понять?

– Да очень просто. Это, в частности, когда литератор описывает в романе технологию производства стали, лампочек или шин там каких... Надо уважать читателя, пора, он заслужил это. Или же согласиться с тем, что никакой культурной революции у нас нет, как были тмутараканью, так и остались.

– Демагогия это.

– Почему? Обнажение проблемы, всего-навсего. Ты сам-то, товарищ Федоров, обливаешься слезами над романом про то, как главный инженер бьется с директором, который консерватор? Или к Пушкину припадаешь, который все больше разбирался с проблемами политики, любви, истории, этики? – Степанов поднялся. – Жаль, что пришел к тебе. Перед дракой не надо отвлекаться на ненужные стрессы. Ей-богу, жаль.

– Да и мне твой визит радости не доставил, – откликнулся Федоров.

– Вот и обменялись откровениями, – согласился Степанов. – Но самое досадное в том, что тебе никто не *вменял* твоего отношения к тому делу, которым пытаюсь заниматься я. Это твое мнение, твое кредо. На этом ты и провалишься, помяни мое слово. Дремучесть, а равно изоляционизм в наше время непатриотичны и оттого – наказуемы. Рано или поздно.

## 9

...Конечно же спас *предприятие* Андрей Петрович – седовласый, моложавый, собранный, элегантный (только на пляже Степанов увидел, как изранено и обожжено его тело); начал войну на рассвете двадцать второго июня, горел в танке, партизанил, освобождал Польшу, закончил Парадом Победы; Чрезвычайный и Полномочный Посол в прошлом, начальник союзного главка, член ЦК.

– Все понимаю, – сказал он, выслушав Степанова. – Какой реальный прок от вашего вояжа можно ждать? Какую выгоду – помимо попытки спасения Врубеля – получит мое ведомство? Если бы вы провели пресс-конференцию о культурных программах в нашей стране, о новых фестивалях в Ленинграде и Крыму, о готовящемся юбилее Новгорода, – как-никак вторая тысяча лет идет Господину, – о Пушкинских днях в Михайловском, тогда мне с руки войти с предложением о вашей командировке в мае. Готовы к такого рода уговору?

– Конечно.

– Успеете подготовиться?

– Постараюсь.

– Я попрошу наших товарищей из управления культуры подобрать кое-какие материалы.

Пригодятся?

– Еще как.

– Думаете писать об этом?

– Вряд ли, Андрей Петрович... Просто сердце рвет, когда видишь наши картины там...

Убили вдову Василия Кандинского, года три, что ль, тому назад, лучшие его вещи она держала в сейфе, в банке, кажется, в Цюрихе; то, что украли в доме у старушки, как в воду кануло: ни один музей не купит, только частная коллекция, а это губительно для памяти о живописце.

– Не каждый решится покупать такие вещи, скупка краденого у них тоже порицаема.

– Не везде. Если доказать, что вещь была у вас в доме более тридцати лет, то изъять ее по суду невозможно... Мой друг из Гамбурга, исследователь Георг Штайн, *вытоптал икону четырнадцатого века, Иверскую; нацисты вывезли из Пскова. Она оказалась в молельне кардинала Соединенных Штатов Спэлмана... Писал, требовал вернуть похищенное в русский храм, без толку. Обратился к папе. После этого семья покойного кардинала подарила икону в церковь Сан-Франциско, все вроде бы соблюдено, ушло к православным, а там и по-русски-то никто не говорит, старшее поколение повымирало, а молодые языка не знают, прилежны той культуре, а не нашей, о войне знают понаслышке...*

– Трагедия современной войны заключается в том, что сразу же перестанет поступать свет, вода и тепло, – задумчиво, словно бы продолжая разговор с кем-то, заметил Андрей Петрович. – Нынешняя война – это уничтожение детей и стариков – в первую очередь. До начала Отечественной в городах еще были колодцы; газ считался новинкой; в деревнях хлебы пекли; а сейчас? Как жить без привычного водопровода, электричества и газа? Это ведь конец, гибель... Рейган не может представить себе, что это такое, но ведь европейцы должны помнить войну?

– Поляки помнят... Югославы... Норвежцы... Французы... Лондон не знал оккупационного статута, но помнит гитлеровские фау.

– Бонн знал и оккупационный статут, и бомбежки, и голод... Они-то о чем думают?

– Слишком крепко повязаны с Белым домом, план Маршалла уже в сорок седьмом начался. Но мне сдается, западные немцы рано или поздно осознают свою значимость в раскладе сил мира.

– Политика берет в расчет очевидность, – улыбнулся Андрей Петрович. – Особенно нынешняя политика сверхскоростей... Пока-то вызреет тенденция, наберет силу, пока-то

станет реальностью. Экономике Франции кто расстреливает? Или Испании? То-то и оно, что не французы с испанцами. С реальностью бороться трудно, с тенденцией – куда легче. А возьмите реальность американского консерватизма? Он протекает из инерции страха и соперничества, а такие черты характера чаще всего приложимы к неблагополучным людям, к обездоленным группам населения, которые живут под секирой постоянной неуверенности в завтрашнем дне, считают, что «раньше было лучше»; отсюда – один шаг до реакционности, которая мечтает реставрировать то, что было в пору дедов и прадедов. Консерваторам легче править, опора на молчаливое большинство. Когда наши внуки мечтают жить в условиях рыцарства Айвенго или удалого гусарства Дениса Давыдова – это одно дело, а вот если президент не может признать допустимым то, что не укладывается в его сознании, если он хочет вернуть свою страну к тому моменту, когда, по его мнению, нация отклонилась от истины, тогда вырывается конфликтная ситуация. Трагизм правого консерватизма наиболее выпукло вылез в Генри Форде – махровый реакционер, склонный к крайним мерам во имя того, чтобы удержать традиции, хотя то, что он сделал для Штатов, на самом-то деле революционизировало страну, вывело ее к решению совершенно новых проблем. И поставил точки над «и» здравомыслящий Рузвельт, которого Форд активно не любил. Любопытно, знаете ли: американские либералы ставят на примат государственной стратегии, на сильное правительство, которое сумеет вывести страну из тупика, а консерваторы уповают на челюсти и мускулы каждого способного действовать круто и резко – возвращение к временам Клондайка...

Степанов покачал головой:

– Это вы подвели меня к тому, что сейчас важнее борец реакционной и либеральной устремленности в Штатах, чем шишка социалистических тенденций Западной Европы с консервативной демохристианской явью? Положили литератора на лопатки?

– Отнюдь. Высказал свою точку зрения, кто знает, может, пригодится для размышлений, особенно если придется спорить в Лондоне. Я, знаете ли, отношусь к спору не как к гладиаторству, когда один обязательно гибнет; спор помогает понять суть, в этом его ценность... Я попытался выстроить некую схему американского консерватизма, во внешней политике в первую очередь. Пугает метание: то провозглашение абсолютного изоляционизма, то, наоборот, перенос политической активности в Старый Свет, – безусловное и немедленное освобождение Восточной Европы от коммунистов, то тактика сдерживания Советского Союза, потом – война во Вьетнаме, которая сделалась национальной катастрофой; как выход из нее – разрядка; а ныне приглашают к крестовому походу против нас с вами, исчадий ада. Чего ждать дальше? Куда их нелегкая поведет? Все понимаю, – национальная усталость, разочарование в идеалах, рост антиамериканизма в мире, хочется как-то помочь делу, но ведь самая страшная угроза шариком заключается не в словах, а в том, что у Белого дома нет реальной внешнеполитической концепции, сплошные эмоции, прямо-таки царство женицин, загримированных под ковбоев. И еще: когда правый ультра Уоллес нападает на государственный аппарат, как на самых страшных врагов, охранников либерализма и демократии, я вспоминаю Германию начала тридцатых годов, Дмитрий Юрьевич... Я очень боюсь того, что там, за океаном, появятся люди, крепкие люди, которые станут играть на нынешней конъюнктуре, играть круто, и привести это может к неуправляемым последствиям...

## II

«Дорогой Иван Андреевич!

Нет сил видеть трагедию, разыгрывающуюся ныне в Нижнем Новгороде, на “Всероссийской Промышленной и Сельскохозяйственной выставке”.

Савва Иванович Мамонтов, имеющий, видно, добрые отношения с министром финансов Сергеем Юльевичем Витте, чувствовал себя здесь хозяином, но таким, которого отличают такт и доброжелательство, что вообще присуще истинно русскому интеллигенту, по-настоящему радеющему о культуре. Он и привлек к росписи павильона, посвященного Крайнему Северу, своего любимца Константина Коровина, а огромные панно в центральном павильоне поручил Врубелю. Конечно, только Мамонтов мог позволить себе такое, но даже он переоценил свои силы. Когда старики-академики развесили в центральном павильоне свои картины в громадных рамах, они оказались раздавленными Врубелем. Работает он с невероятной скоростью и не считает нужным скрывать этого. Представляете, как это зlobит его многочисленных врагов?! На одной стене наши сюжет, русский. А на противоположной – панно «Принцесса Греза», по Эдмонду Ростану. Он, кстати, сам и перевод сделал. Тот, что опубликовали, не понравился ему; французский, латынь он знает, как русский, в совершенстве; по-моему, и немецкий чувствует великолепно, поэтому ростановскую вещь сделал мастерски, лучше наших литераторов. Вообще же, коли говорить о иерархии в мире искусств, то, бесспорно, на первом месте стоит музыка, на втором живопись и лишь на третьем литература. Ведь ни Бах, ни Мусоргский перевода не требуют, они входят в сердца и души сразу же и навсегда. Живопись имеет какие-то границы, фламандцев отличить от испанцев немедля, как и Врубеля от Мане. А литература более субъективна в восприятии, да и перевод потребен отменный, соответствующий уровню созданной прозы. Кстати, и здесь Врубель эпатирует общественность, браня повсюду Толстого: мол, пристрастен, Анну Каренину не любит, оттого и бросил ее под поезд, князя Андрея терпеть не может, потому и заставляет его, несчастного, мучиться в лазарете. Признает только «Севастопольские рассказы». Считает, Толстой воспарил, присвоив себе функции высшего судьи, а сие, по его мнению, от папства. Достоевского тоже костит, нерусский, мол, конструирует характер, подделка под Запад, коммерция, оттого так в Лондоне и нравится. Зато Гоголя знает наизусть; читая, плачет и смеется, как ребенок.

Отвлекся. Это я с силами собирался, чтобы рассказать про то, что разыгралось на моих глазах.

Гроза начала собираться, когда приехали старцы из Академии, дабы самолично наблюдать за развескою своих картин. Когда Коровин пришел в павильон (Врубель в то время работал под потолком, на лесах, как только не сверзился, сделаны шатко, все скрипит, шатается!), поглядел на привезенные работы, – сплошь мундиры с крестами или же безоблачные дали, и то, и другое зализано отменно, – лицо его помрачнело.

“Зарежут Врубеля, Вася, – сказал он мне, – не простят, что его панно дают этих лилипутов”.

Я, признаться, решил, что живописец, как и всякий человек искусства, склонен к преувеличениям, и не поверил ему. Действительно, что можно сделать с готовой уже работой, поражающей каждого, кто входит в павильон?!

Однако по прошествии немногих дней я лишний раз убедился, что художник всегда чувствует точнее, чем мы, грешные.

*Старцы из Императорской Академии объявили, что не желают выставлять свои картины рядом с “декадентским безобразием” Врубеля. Кто-то подсказал им, что решение Сергея Юльевича Витте об оформлении павильонов не согласовано с Императорской Академией. Была создана специальная комиссия, которая прибыла в Нижний Новгород и сразу же забракела панно Врубеля, как “чуждые духу Православия, Самодержавия и Народности”.*

*Бедный Врубель впал в прострацию, начал прикладываться к бутылке, и что с ним стало, не знаю, – сначала травили в Киеве, запретив роспись Собора, травят постоянно в повременной печати за “декадентство” – не покровительствуя ему Мамонтов и не обожая его наш добрый Поленов. Оба бросились в бой, каждый по-своему. Мамонтов отправился к Витте, Поленов – к Врубелю, опекал его, как добрый дядька, не отходил ни днем, ни ночью. Витте, выслушав Мамонтова, обещал подумать. Положение его трудное, как-никак живописью распоряжается не кто-нибудь, а Великий Князь, его слово есть истина в последней инстанции. А Мамонтов, закусив удила, не стал дожидаться решения вопроса в Сферах, вернулся в Нижний и, не скупясь на “борзых” для местного начальства, арендовал пустырь возле Всероссийской выставки. Несмотря на всю нашу азиатскую неповоротливую косность, Мамонтов прямо-таки пробил разрешение властей и в несколько дней построил павильон специально для панно Врубеля. И повелел у входа повесить огромную вывеску: «Выставка декоративных панно художника Врубеля, забракеланных жюри Императорской Академии Художеств».*

*Поленов помог закончить второе панно, поскольку Врубель по-прежнему был в прострации, ошеломленный и раздавленный, не в силах двигаться.*

*А когда повалили толпы народа и Врубель узнал об невероятном своем успехе, сел в поезд и уехал из Нижнего. Слава пришла к нему в его отсутствие.*

*Я спросил Поленова, что слышно об несчастном, опасаясь за его жизнь.*

*Тот ответил, чтоб я не переживал, Врубель уехал к своей невесте, оперной звезде Надежде Забелле; любит ее без ума; это, верно, и спасло его от гибели в те страшные дни, когда все улюлюкали против его гениальных работ...*

*Давай-то, Бог, чтоб всегда любовь помогала художнику переносить трагедию.*

*Да его ли одного это доля?! Не есть ли это удел всего нашего общества, где Истину определяет мракобес Победоносцев, инквизитор наших дней, да те еще, кто толпится вокруг трона?!*

*Я пробуду здесь до конца месяца, Иван Андреевич. Адрес мой прежний: гостиница “Волга”. Был бы рад Вашему письму.*

*Нижайший поклон Вашему милому семейству.*

*Искренне Ваш Василий Скорятин».*

## Часть вторая

### 1

– Фриц Золле похоронил свою подругу полгода назад, – сказал Ричардсон, пропуская Фола в маленький бар возле Репеербана, пустого, не расцвеченного рекламами; вечер не начался еще. – Посидим тут, никто не будет мешать. Что хотите? Пиво? Или виски?

– Молоко. И хороший гамбургер.

– Молока здесь нет. Я схожу в «Эдеку», это за углом. Какое любите, жирное или постное?

– Жирное. Спасибо, мистер Ричардсон, но ходить в «Эдеку» не надо, я не смею вас затруднять. Выпью воды, я плохо переношу перелеты, живот болит, с удовольствием жажну с вами хорошего виски завтра вечером.

– Меня зовут Стив...

– Очень приятно, я – Джос. Вы, полагаю, знаете предмет моего интереса?

– Знаю. Странно, человек с таким мягким именем занимает столь жесткую позицию.

– Разумную. Так точнее. Надоело отступать. У меня отец погиб в Нормандии, в сорок четвертом, я чту его память.

Ричардсон возглавлял подразделение, занимавшееся анализом информации на интеллектуалов Западной Германии; именно ему было поручено обобщить все те материалы, которые были собраны на Фрица Золле; указание из Вашингтона он получил неделю назад; в прошлом научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джорджтаунского университета, он был привлечен к работе, когда команда Джорджтаунского центра вошла в администрацию Рейгана, чтобы отстаивать концепцию военно-морского присутствия Соединенных Штатов во всем мире для обеспечения контроля над ключевыми энергетическими ресурсами.

– Давайте о Золле. Он меня очень интересуется, Стив, очень. Больше, чем все остальные, – на данном этапе комбинации.

– Но я не знаю остальных.

Фол отрезал:

– Я знаю.

Ричардсон обернулся к бармену, чтобы Фол не заметил острой неприязни, родившейся в нем: интеллигент, он строил свои отношения с сотрудниками подразделения на принципе доверия, равенства и дружества, только поэтому смог собрать уникальную картотеку и завязать добрые связи с ведущей профессурой университетов севера Германии (на юге создали другой центр, базировавшийся в Мюнхене, под крышей филиала фирмы «Кемикл индастри лимитед»; в Бонне работала резиденция посольства, в Базеле и Аахене дислоцировались филиалы швейцарского и голландского центров в рамках «Общества по исследованию проблем мира и развития»).

– Пожалуйста, Франц, – сказал он бармену, – моему другу и мне кофе. Если бы вы смогли организовать пакет молока, было бы вообще совершенно великолепно. И большой гамбургер. – Ричардсон наконец обернулся к Фолу; в глазах было дружество; он давно уже подсчитал, – чтобы погасить в себе гнев, ему достаточно семь-восемь секунд; вначале, правда, на это уходило секунд двадцать; собеседник – если не был полным чурбаном – не мог не обратить внимания на то, как долго Ричардсон копался в кармане, доставал сигарету, мял ее, прикуривал; всякая *задержка* темпоритма неестественна; разве что заикание. Увы, далеко не всякий наделен этим выгоднейшим качеством: естественная возможность продумать ответ, погасить ненуж-

ные эмоции, вызвать улыбку или сострадание; кто заподозрит человека в хитрости, коли у него врожденный дефект речи?!

– Вы зря на меня обиделись, Стив, – заметил Фол. – Я бы никогда не посмел просить имена ваших информаторов. Каждый делает свое дело так, как считает нужным, и с тем, кто ему пришелся по душе. Но и я никому не открываю то, что считаю своим. Поймите меня верно.

– Почему вы решили, что я обиделся?

Фол пожал плечами:

– Я мог бы сглотнуть эту вашу ложь, однако наши отношения после этого сломались бы, Стив. Я человек открытый, поэтому отвечаю: я знаю, как вы работали над собою, чтобы научиться скрывать эмоции. Я знаю, с кем вы делились своими соображениями по этому вопросу. Более того, – он улыбнулся, – мне известно имя той актрисы из Бохума, которая давала вам уроки, некий сплав систем Станиславского, Брехта и «Комеди Франсэз»...

– Что ж, значит, красные не очень-то далеки от истины, когда говорят, что мы стали страной тотальной слежки, – очень весело...

– Красные весьма далеки от истины, а вот обижаться друг на друга нам не пристало... Итак, я весь внимание, Стив.

Ричардсон откинулся на спинку стула, чтобы не мешать бармену накрывать стол, проводил его рассеянным взглядом, закурил, прикрыл глаза и, откашлявшись, начал монотонно, без всякого интереса, как-то со стороны, *раскручивать*:

– После того как у Золле умерла подруга, он остался совершенно один, не приспособленный к жизни, с парниками, с которыми ранее управлялась фрау Анна, с кредиторами, которых сдерживала она же, с ее родственниками, которых теперь уже никто не может уговорить, чтобы они повременили с выплатой процентов под деньги, взятые в рост...

– Простите, что перебиваю, Стив. Деньги были взяты им для того, чтобы ксерокопировать документы, необходимые для его поиска русских, польских и французских культурных ценностей?

– Естественно. Я намерен остановиться на этом вопросе чуть позже.

– Простите еще раз. Вы не обидитесь, если я, слушая вас, расправлюсь с гамбургером?

– Нет, не обижусь. Я в это время выпью кофе.

– Да что же вы такой ершистый, а?!

– Я ершистый в такой же мере, в какой вы – бестактный.

Фол стремительно съел гамбургер, выпил молоко из невысокого стакана, тщательно вытер рот салфеткой, на которой был нарисован толстый бармен Франц, номер телефона и адрес его заведения; взял зубочистку, прикрыл ладонью рот и, тщательно проверив, не осталось ли во рту мясо (его стоматолог Збигнев Крупчиньский, хоть и взял двести семьдесят долларов за то, чтобы починить треснувший зуб, кровоопиец, по праву считался лучшим врачом в округе и более всего предостерегал от того, чтобы во рту оставалось хоть что-нибудь после еды, прямая дорога к пародонтозу, профилактика и еще раз профилактика), сказал:

– Стив, если вам трудно работать со мной, я готов предложить некий паллиатив сотрудничества: вы знакомите меня со всеми материалами, а я – после их изучения – ставлю вам те вопросы, которые, возможно, возникнут. Устраивает? Я не люблю трепать нервы коллегам. Видимо, у меня действительно дрянной характер. Бухаю, что думаю, весь на виду, не учен протоколу.

– Учены, – на этот раз отрезал Ричардсон. – Мой контакт из здешнего ведомства по охране конституции передал запись вашего разговора с Мезаром из Аахенского университета. Ваш такт и учтивость показали мне образцом джентльмена.

– Так ведь Мезар немец, то есть иностранец. Вы же знаете о нашем комплексе преклонения перед иностранцами, – Европа, Возрождение, мать мировой цивилизации...

– Матерью мировой цивилизации серьезные ученые считают Египет, Грецию и Рим.

– Серьезные ученые, – жестко рассмеялся Фол. – А я нувориш. Парень из провинции. Знаете, как одного англичанина спросили, в чем секрет его интеллигентности?

– Знаю. Он ответил, что надо окончить Оксфорд. Собеседник заметил, что он тоже окончил Оксфорд, а тот англичанин хмыкнул: «Я имею в виду дедушку. Ваш дедушка должен был окончить Оксфорд». Вы эту притчу хотели рассказать?

– Именно.

– Ну и напрасно, потому что ваш дед окончил университет, Джос. А мой отец был шофером такси. Не подделывайтесь под меня, не надо. Тем более вы – мой работодатель. В какой-то степени... До той поры, пока не отправлю рапорт в центр с оповещением о том, что я принял приглашение Института анализа внешней политики в Кембридже и считаю свою работу в конторе законченной.

– Только не пишите в рапорте, что причиной вашего ухода была моя бестактность. Вам не поверят.

– Поверят, – ответил Ричардсон, тронув указательным пальцем карман пиджака, – я записал наш разговор.

«Псих, – подумал Фол. – Или климакс? Господи, какой страшный возраст между пятьюдесятью и шестьюдесятью. Неужели я стану таким же?»

– Стив, послушайте. Я знаю имена всех кредиторов Золле. Из родственников покойной фрау Анны меня интересуют только Зигфрид Рив и Карл Уве Райхенбау. Что касается его парников, то вчера утром он сдал их в аренду племяннице покойной фрау Анны на два года. Интересует меня также господин Орс. Не знаю, проходит ли он по вашим бумагам? Он дал возможность господину Золле ксерокопировать материалы в Боннском университете. А там, мне сказали, страница стоит десять пфеннигов, а не сорок, как на почте.

– У вас есть еще один центр, работающий на севере? – спросил Ричардсон несколько растерянно.

– Я обязан ответить, что у нас нет ни второго, ни третьего центра, перепроверяющего ваши материалы, да и самого вас, Стив. «Тотальная слежка», «маккартизм» и все такое прочее оставьте крикунам от либералов. Мы с вами консерваторы, люди традиций. Нечего задираться по пустякам. Я готов учиться у вас тому, что ценю: дерзости мысли, а вам не грех перенять мой опыт закапывания в материалы. Я крот, Стив, архивная крыса. Люди моего плана пригодятся вам, теоретикам моделей будущего на Европейском континенте...

– Хоть вы и сукин сын, – улыбнулся Ричардсон, – но голова у вас варит, ничего не скажешь. Про парники я ничего не знал.

– Я выдумал про парники, – вздохнул Фол. – Чтобы сбить с вас профессорскую спесь. И – сбил. Вот так-то. Поехали дальше.

## 2

Зигфрид Рив работал в бургомистрате, ведал вопросами прописки; имел поэтому контакты с секретной службой; хоть в Гамбурге не было такого огромного количества турецких «гастарбайтеров»<sup>2</sup>, как в Западном Берлине (более семидесяти тысяч; район Кройцберга стал совершенно турецким, своя полиция, свои мечети, школы, только публичные дома остались немецкими), зато здесь довольно много испанцев и югославов; *службы* особенно интересовались югославами, хотя испанцы также изучались весьма тщательно, особенно после того, как в Мадриде к шгасти пришли левые.

Фол позвонил в бургомистрат за пять минут перед обеденным перерывом, передал Риву привет от господина Неумана (под такой фамилией ему был известен сотрудник Министерства внутренних дел Альберте) и предложил поужинать, заметив, что он прилетел из-за океана именно для того, чтобы поговорить о предметах вполне конкретных, представляющих для господина Рива прямой интерес.

Тот записал фамилию Фола («мистер Вакс»), спросил, где остановился заокеанский гость, удобен ли отель, нет ли каких претензий к хозяину («они все связаны со мною, так что обращайтесь без стеснения»), поинтересовался телефоном бара, из которого звонил «мистер Вакс», сказал, что свяжется с ним, как только просмотрит свой план на вечер; сразу же отзвонил «господину Неуману», рассказал о напористом госте из Нью-Йорка, выслушал рекомендацию принять приглашение; набрал номер телефона бара «Цур зее», попросил пригласить к аппарату того господина, который только что беседовал с ним, договорился о встрече и отправился в профсоюзную столовую, на обед; поразмыслив, от супа отказался, какой смысл, если приглашен на ужин, ограничился сататом и сосиской.

...Карл Уве Райхенбау закончил преподавание в школе три года назад; пенсия не ахти какая, приходилось подрабатывать консультациями; готовил служащих контор и фирм, имевших деловые связи с Францией, язык знал отменно, три года прослужил в Париже, переводчиком при Штюльпнагеле, – генерал восхищался его произношением.

Звонку Фола не удивился, сразу же дал согласие выпить чашку кофе, предложил увидеться возле Музея искусств на Альтенштрассе, в баре, что на углу; там неподалеку паркинг, вы легко найдете, господин Вакс; как я вас узнаю? Ага, понятно, ну а я седоусый, в шмиттовской, а точнее сказать, ганзейской фуражке черного цвета, костюм черный, рубашка белая.

Фол отметил, что Карл Уве Райхенбау ничего не сказал про свое родимое пятно на щеке, поросшее черными волосками; человека с такой отметиной узнаешь из тысячи; что значит *ходок*, семьдесят лет, а все еще считает себя мужиком; молодец, ай да Карл Уве, с ним можно говорить, люблю персонажей со стержнем, это не квашеная капуста, вроде Зигфрида Рива, *стучал* гестапо, *стучит* и поныне, всего из-за этого боится, в каждом иностранце видит шпиона, Геббельс все-таки успел вылепить вполне надежную модель, с таким одно мучение, а времени подводить к нему немецкую агентуру нет, до торгов в Лондоне осталось всего две недели.

– Нет, господин Вакс, я не стану говорить с вами на английском, я привык делать только то, что умею делать отменно. На французском – извольте, к вашим услугам...

– Господин Райхенбау, ваш английский не хуже моего американского, – заметил Фол. – Мы говорим символами, спешим, будь трижды неладны. Такая уж нация: понаехали за океан одни бандиты и революционеры, вот теперь мир за них и расплачивается.

Райхенбау улыбнулся:

---

<sup>2</sup> Гастарбайтер – иностранный рабочий (нем.).

– К людям, которые смеют ругать свою нацию, я отношусь с интересом и завистью... Чем могу быть полезен?

Он еще раз посмотрел визитную карточку американца: «Честер Вакс, вице-президент “Ассоциации содействия развитию культурных программ”, 23-я улица, Нью-Йорк, США», спрятал в карман, достал трубку, сунул ее в угол узкого, словно бы с натугой прорубленного рта, но раскуривать не стал.

– А пригласил я вас вот по какому поводу, господин Райхенбау... Мою ассоциацию интересует работа приятеля вашей покойной сестры, фрау Анны.

– Я так и понял, господин Вакс. Ваша фамилия претерпела сокращения? Вы были Ваксманом или Ваксбергом?

– Дедушка был каким-то «маном», это точно, а в чем дело?

– Нет-нет, я чужд расовых предрассудков, немцы за это достаточно поплатились после Второй мировой войны, просто, если вы имели в роду евреев, мне будет проще говорить с вами, дело-то явно торговое.

– Слава богу, нет. Порою мне кажется, что дедушка был самым настоящим немцем.

Райхенбау не смог сдержать улыбки, покачал головою, спросил:

– Что вас интересует в работе Золле?

– Все.

– Что вы знаете о ней?

– Только то, что он собрал уникальную картотеку культурных ценностей, похищенных в музеях Европы.

– Кем?

Фол подавил в себе остро вспыхнувшее желание ответить: «Нацистами, твоими соратниками по партии, сволочь недобитая»; сказал мягче:

– Прежним правительством Германии, режимом Гитлера...

– Я не очень верю во все эти слухи, господин Вакс. Ну да не в этом суть. Есть какие-то предложения к Золле?

– Господин Райхенбау, вам прекрасно известно, что Золле не станет иметь со мною дело, он все свои исследования передает русским...

– Это его право.

– Верно. Только как быть с теми деньгами, которые он обещает отдать вам вот уже три года? Я имею в виду пять тысяч марок, взятые им в долг...

– Откуда вам это известно?

– Это мое дело, господин Райхенбау. Я пришел к вам с коммерческим предложением, вполне реальным: вы передаете нам копии его архива, мы платим вам пять тысяч марок.

– Господин Вакс, ваш дедушка не был немцем, – вздохнул Райхенбау. – Не надо считать меня ганзейским тупицей с замедленным мышлением. Архив Золле стоит пару сотен тысяч марок, по меньшей мере.

– Ошибаетесь. Большая часть его документов – это материалы, ксерокопированные в нашем архиве, в форте Александрия. Нам известны все те единицы хранения, которые он истребовал к копировке. Мы знаем также, что он копировал в архивах Фрайбурга и Базеля. Это нас не волнует. Речь идет о русских материалах, о документах из Восточного Берлина и, главное, о классификации архивов. Говоря грубо, он истратил что-то около тридцати тысяч марок на все свое предприятие.

– Он никогда и ни при каких условиях не продаст свои документы, господин Вакс.

– Значит, вы смирились с потерей денег?

– Говоря откровенно – да. Мне это очень обидно, я весьма стеснен в средствах, вы, видимо, знаете об этом, если знаете все о Золле, но я не умею быть взломщиком сейфов, это не по моей части.

– Хорошо, давайте сформулируем задачу иначе: как вы думаете, после вашей просьбы Золле пойдет на разговор со мною? На откровенный, конструктивный разговор?

– О продаже его архива?

– Да.

– За тридцать тысяч? – усмехнулся Райхенбау.

– Ну, скажем, за пятьдесят.

– Нет. Не пойдет. И за двести тысяч он вам ничего не продаст.

– Почему?

– Потому что он фанатик. Вы знаете, что такое немецкий фанатизм?

– Откуда мне, американцу, знать это? Я занимаюсь конкретным делом, мой бизнес интересуется архив Золле, мы – прагматики, эмоции не по нашей части...

– Тогда все-таки поинтересуйтесь у сведущих людей про немецкий фанатизм, очень интересная штука...

– Я попросил о встрече, оттого что считал именно вас сведущим человеком, господин Райхенбау.

– Полно... Вы думали, что я готов на все из-за тех пяти тысяч. Рискованно идти на все, господин Вакс, этот урок я вынес из прошлого. Золле чувствует свою вину перед русскими, поляками, перед французами, хотя он не воевал – в отличие от меня.

– Вы тоже не воевали, господин Райхенбау. Вы допрашивали французов, перед тем как их гильотинировали...

– Вы моложе меня, поэтому я лишен привилегии ударить вас.

– Бьют, когда есть факт оскорбления. Я ж оперирую архивами, господин Райхенбау.

Фол достал из кармана конверт, положил его на стол, подвинул мизинцем Райхенбау, попросил у бармена счет и, поднявшись, сказал:

– Здесь документы про то, как вы воевали в Париже. Хотите скандал – получите; полистайте на досуге, я позвоню завтра утром. И не вздумайте отвергать факты: если вы были Райхенбау, а стали Райхенбау, то истину легко восстановят свидетели, их адреса в моей записной книжке, вполне уважаемые господа из Парижа и Бордо.

С Ривом «мистер Вакс» встретился на Эппендорфер-штрассе.

– Поехали в аргентинский ресторан! Чудо что за «парижжя»<sup>3</sup>, надеюсь, вам понравится...

– Я ни разу не был в аргентинском ресторане, – ответил Рив, разглядывая крупного, резкого в движениях человека, сидевшего рядом с ним в такси. – Рассказывают, что один наш гангстер купил землю на Фолклендских островах за три дня до начала войны, попал под бомбежку и сошел с ума от ужаса...

– Вылечат, – ответил Фол. – Англичане умеют лечить от безумия. А парижжя вам понравится, уверен. И вино там прекрасное. У аргентинцев роскошное вино, лучше французского...

– Где вы учили немецкий? – спросил Рив. – Вы великолепно говорите на нашем языке.

– В Берлине. Я там работал в центре, где хранятся документы на всех нацистских преступников, начиная с мелких осведомителей гестапо и кончая родственниками Бормана.

– Ах, как интересно, – сказал Рив и долго откашливался, прикрыв рот узкой, сухой ладошкой.

В ресторане они устроились в углу, чтобы никто не мешал, причем, как показалось Фолу, не метрдотель повел их, а сам Рив пошел именно к этому дальнему столику – со свечой в толстом мельхиоровом подсвечнике. На столике – красиво вышитая салфетка: по белому полотну яркая желто-голубая каемочка. Вино было из Аргентины; розовое, из бочек Мендосы.

Официант, как и положено в дорогом ресторане, налил вино Фолу, тот попробовал, сказал, что оно чудесно. Тогда был наполнен бокал Зигфрида Рива, он сделал маленький глоток,

---

<sup>3</sup> Парижжя – аргентинское национальное блюдо (*исп.*).

блаженно зажмурился; рука его чуть дрожала, оттого, видимо, что пальцы слишком сжимали тоненькую хрустальную ножку.

– Хорошо, а? – спросил Фол.

– Восхитительно, – ответил Рив. – Просто чудо!

– Парижжя вам понравится еще больше, уверяю. Спасибо, что вы нашли время для встречи. Мне было очень важно увидеть вас.

– Простите, но я не имею чести знать, кто вы.

– Разве я не представился? Простите, бога ради! Я работаю в сфере культуры. Меня интересует все, что связано с деятельностью господина Золле... Он ведь ваш родственник...

– Ну, я бы не сказал, что он мой родственник. Мы были связаны какими-то узами, пока была жива моя сестра... Теперь он мне никто.

– Он ваш должник?

– Да. Откуда вам это известно?

– Известно. У нас с вами есть общие знакомые, они сказали.

– Кто именно?

– Человек, которого вы давно и весьма искренне уважаете. Вот моя визитная карточка, можете звонить мне в Вашингтон и Нью-Йорк, разговор оплачу я.

– Простите, но я все-таки не очень понимаю причину вашего интереса ко мне, господин Вакс, – сказал Рив, еще раз посмотрев визитную карточку американца.

– Мои коллеги и я заинтересованы в том, чтобы получить архив господина Золле. Он – бесспорно честный человек, следовательно, его долг вам – три тысячи марок, верно? – тяготит его и, видимо, тревожит вас. Почему бы вам не поговорить с ним дружески? Предложите ему компромисс: либо он продает нам свою картотеку и мы выплачиваем вам его долг – вне зависимости от того, на какой сумме сойдемся, либо пусть предложит свой архив Франции, там тоже заинтересованы в его работе...

– Ах, при чем здесь Франция?! Больше всего в его работе заинтересованы красные! Он же вернул русским какие-то ценности, обнаружил следы в архиве, устроил скандал... Ему могли уплатить здесь, называли сумму в пятнадцать тысяч марок! Но он отказался! Он же коллекционер, исследователь, псих...

– Фанатик, одним словом...

– Он не фанатик. Неверно. Фанатик – это другое, это когда политика или религия. А он псих, как каждый исследователь, филателист, коллекционер фарфора. Я встречал таких, они невменяемы...

– А с чего у него все это началось?

– Не знаю. Анна была очень замкнутой, а он вообще как баба. Истерик, настроения меняются, как у беременной, верит любому слуху, плачет, когда ему что-то не удастся...

– Вы думаете, это бесполезное дело – устроить нам встречу? Я бы предложил ему хорошие деньги.

– Совершенно бесцельная трата времени. Он, видите ли, хочет искупить вину немцев перед русскими. А я не убежден, что мы были так уж виноваты перед большевиками...

– Были, господин Рив, были. Конюшню в их национальной святыне, в Ясной Поляне, устроили не зулусы, а вы, немцы... Золле сам пришел к этой идее? Или ему кто-то подсказал ее?

– Не знаю. Что вы имеете в виду? Контакт с коммунистами?

– Вы допускаете возможность такого рода контакта?

– Нет... Впрочем, а почему бы и не допустить?

– Потому что это глупо, господин Рив, – отрезал Фол. – И вам прекрасно известно, что натолкнула его на эту мысль церковь. Конкретно – пастор Ивере. Великолепный человек и

достойнейший слуга Божий, который вину немцев перед русскими никогда не отвергал... Скажите, вы советовались с кем-нибудь из коллег перед тем, как принять мое предложение?

– Я не понимаю вас.

– Полно вам. Вы все понимаете. Вам рекомендовали со мной поужинать. Поэтому давайте-ка говорить доверительно, так, чтобы никто третий о нашей беседе не узнал. А интересует меня чисто торговое дело: на что прореагирует господин Золле, на что он откликнется, что его заденет и понудит вступить в переговоры со мною о продаже своего уникального архива? Меня интересуют черты его характера, привычки, болевые точки, уязвимые места. Вы, человек богатого *опыта*, прекрасно понимаете мой интерес. Вы были ближе всех к покойной фрау Анне, она все-таки советовалась с вами, делилась мыслями. Кстати, она говорила вам про визиты к ним в дом некоего господина Степанова? Из России?

Рив допил вино, облегченно улыбнулся и сказал:

– Ну, теперь-то я начал понимать, в чем дело... Поначалу вы подошли слишком уж изда- лека.

– Обернитесь, – требовательно сказал Фол, закаменев лицом.

Рив испуганно обернулся.

– Видите, – сказал Фол, – это несут нашу парижжю. Не страшитесь ее размеров, все уберем, только не надо торопиться...

Райхенбау попросил господина Вакса приехать к нему домой; болит сердце, переволновался.

*Отдал* все, что знал; фантазировал, как можно *нажать*; говорил много пустого, пока не вспомнил, что Золле трепетно относился к каждой заметке, которая появлялась в прессе о его работе, – делал с нее ксероксы, клеил в альбом, посылал детям фрау Анны. Однажды написал возмущенное письмо в исторический журнал, когда в информации о его деятельности была допущена неточность, суший пустяк, орфография, никак не злой умысел редакции. Ему принесли извинение, однако он этим не удовлетворился, потребовал напечатать официальное опровержение; журнал отказал; Золле начал было тяжбу, но адвокат, господин Тромке, не рекомендовал начинать процесс:

– Проиграете; ошибка пустячная. Будете выглядеть болезненным честолюбцем в глазах всех, кто вас знает, не солидно...

«Пожалуй, это как раз то, что надо, – подумал Фол. – Нюанс стоит обедни, теперь-то мне и понадобится Ричардсон, он сам невероятно раним, надо хорошенько понаблюдать за ним, он выведет меня на то решение и на тех людей, которые сделают дело с Золле».

...В тот же день, почти одновременно, и Райхенбау, и Рив отправили господину Золле официальные уведомления, в которых сообщали, что обратятся в суд, если в течение семи дней им не будут возвращены деньги, взятые в долг, под соответствующие расписки, заверенные в бременской конторе у нотариуса Герберта Казански.

## 3

Ричардсон жил один, в небольшой квартире на Бебель-аллее. На уик-энд он уезжал по четыреста тридцать третьей дороге в Бад-Зегеберг, останавливался в пансионе господина фон Укперна, наскоро переодевался и уходил на прогулку, проделывая километров сорок в день. Возвращался счастливый, уставший, пил с хозяином настоящее «Пльзеньское» пиво (самое дорогое, пять марок бутылка), замороженно, как ребенок, слушал истории о морях: господин фон Укперн был в прошлом капитаном первого ранга, состоял при адмирале Редере. Старику нравился этот худой, долговязый профессор истории. Постепенно Ричардсон составил картотеку на всех военных моряков рейха, оставшихся в живых. После этого протянул нити к тем издательствам, газетам, журналам и литературным агентствам, которые работали со «старцами», – их мемуары из года в год набирали силу, становились бестселлерами. Таким образом он классифицировал многих журналистов-записчиков по идейной направленности, легко просчитывая данные на ЭВМ.

Дома он с Фолом говорить не стал, кивнув на отдушину: «друзья» из Баварии<sup>4</sup> конечно же пишут каждое слово. Угостил гостя прекрасным чаем из трав, собранных им во время прогулок, поинтересовался, не мучает ли коллегу остеохондроз, бич всех, кто занят сидячей работой, показал, как он смонтировал себе шведскую стенку совершенно особой конструкции, а потом предложил поехать на ужин в ресторан. Поехали они к итальянцам – там прекрасная кухня, хотя слишком много мучного, зато вино «Лямбруска» – редкий напиток, может сравниться разве что с португальским «Винью верди».

– У меня есть пять кандидатур, – сказал Ричардсон, когда они заказали еду. – Журналисты разного плана, которые сотрудничают со мною уже два-три года, вполне надежные люди...

– Кого бы вы порекомендовали? Времени в обрез, промахнуться опасно.

– Если мы будем ставить на ранимость господина Золле, на его обостренное отношение к печатному слову, тогда в дело надо пускать *слона*. У меня есть такой слон, из левых, очень весом, резок, выступает с любопытными шлягерами и – что самое важное – имеет ход на телевидение. Мир сейчас знает только тех, кто мелькает на экранах телевизоров, все остальные журналисты – мотыльки, легковесность. Вальтер Шасс, не слышали?

– Слышал. Я ведь смотрел перед вылетом ваши материалы. Он поддается режиссуре?

– Трудно сказать... Честолюбив чрезмерно, прет, как танк, но, в общем-то, ни разу нас не подводил.

– Он знает, на кого работает, или вы используете его втемную?

– Только втемную... Он же талантлив, его не возьмешь на тысяче марок.

– А на чем вы его взяли?

– Турне по Штатам, лекции в университетах, – там собрали десять молодых олухов, изучающих проблемы Западной Германии. Но при этом обязательное интервью в местных телекомпаниях и пара фотографий в газетах.

– Как относится к религии?

– Хороший вопрос. Меня это тоже более всего настораживает. Он атеист, костит клерикалов. Все мои разговоры о «революции» в Ватикане после второго вселенского конгресса ни к чему не привели. Постоянно оперирует архивными материалами советника посольства рейха при Ватикане Менсгаузена, который передавал в Берлин текст проповеди епископа Константина: «...вчера на земле Испании, сегодня на собственной земле большевизма, где Сатана обрел своих представителей, храбрые воины, среди которых есть солдаты и нашей страны,

<sup>4</sup> В Баварии расположена штаб-квартира секретной службы ФРГ.

ведут величайшую из битв. Мы всем сердцем молимся за то, чтобы это сражение привело их к окончательной победе...»

– А про то, как Риббентроп призывал своего посла в Ватикане фон Бергена всячески избегать конфронтации с папой, он вам не говорил?

– Нет. Видимо, еще до тех архивов не добрался.

– Умеет работать с документами?

– Не очень... Но хорошо читает исторические журналы, они у него все помечены маркерами...

– Как относится к русским?

– Период Гражданской войны в Испании и Вторую мировую расценивает положительно. К нынешнему московскому режиму настроен отрицательно. Они ему отказали в визе, реагирует весьма болезненно.

– Отчего ему отказали в визе?

– По-моему, в одной из его статей были личные выпады, а Москва этого не любит.

Фол усмехнулся:

– Можно подумать, что это нравится Вашингтону. Я вам изложу схему. Подумайте, что в ней слабо, что пойдет в дело, а от чего вообще надо отказаться. Итак, мы открываем Вальтеру Шассу кое-какие материалы... Видимо, надо сказать, что они получены вами от друзей из разведки, какой именно – не уточняйте... Мол, русский по фамилии Степанов, тоже журналист, постоянно встречается с рядом немецких исследователей типа Георга Штайна, Кнорра и Золле, получает у них информацию о судьбе культурных ценностей, похищенных нацистами, причем – в этом суть моего плана – Кнорру он платит за информацию – деньги не ахти какие, Министерство культуры русских не очень-то расшвыривается валютой, но тем не менее платит, в то время как Золле не платит ничего. В чем дело? Где причина? Может быть, господин Золле меценат? У него счета в швейцарских банках? Или же он отчего-то *обязан* бесплатно отдавать свои материалы Степанову?

Ричардсон поинтересовался:

– Сколько Степанов платит Кнорру?

– Да ни черта он ему не платит. У одного нацисты убили всех родных, второй попал в плен к русским с разорванным животом, они его спасли от смерти, вот и отслуживают память...

– Чего вы хотите добиться, Джос? Я что-то не очень понимаю ваш план.

– Так это хорошо! Это прекрасно! Если бы вы поняли мой план, куда бы он годился?!

– Слава богу, я начинаю к вам привыкать, а то бы снова озлился. Извольте объяснить, чего вам надо добиться?

– Мне надо, чтобы Золле сказал Степанову: «Друг мой, я весь опутан долгами, у меня нет ни копейки денег, пожалуйста, дай мне десяток тысяч, чтобы я расплатился с кредиторами». И сказать он это должен не где-нибудь, а в Лондоне, и не когда-нибудь, а вечером восьмого мая, и не просто так, с глазу на глаз, а в присутствии третьего человека...

– Вальтер Шасс не подойдет для вашего дела, – сказал Ричардсон и полез за сигаретами.

– Да? Плохо. А почему?

– Потому что он такой же хряк, как вы, а я вижу в этом деле *человеческую* работу.

– Ну и черт с ним. Значит, подойдет другой, у вас же их пятеро. За вас, Стив! Мне приятно работать с вами. Честное слово.

### III

«Дорогой Иван Андреевич!

Только что видел Врубеля. Вид его ужасен, глаза запали, обычно тщательный, даже несколько экстравагантный в одежде, он был одет небрежно, руки его тряслись. “Что с Вами?” – спросил я. Он посмотрел на меня недоумевающе: “Разве вы не знаете, что Александр Антонович покончил с собою?!”

Я сразу же представил себе маленького, кроткого, добрейшего Александра Антоновича Рицциони, его прелестное ателье в Риме и наши совместные чаепития. Его постоянная опека над Врубелем, когда тот работал там в начале девяностых, да и позже, приехав к старику со своей очаровательной женою, была истинно отеческой. О, как же он умел опекать, требовательно, но в то же время добро, как тактичен был в своих советах и наставлениях, как застенчив, когда его просили показать новые работы, а ведь мудрый Третьяков в свою коллекцию приобрел чуть ли не самым первым именно его полотно “Еврей-контрабандисты”. Это ли не оценка труда художника?!

“А что же случилось? – спросил я. – Долги? Или семейная трагедия?”

Врубель по-прежнему недоумевающе посмотрел на меня: “Да разве вы не читали «Мир искусств»? Его там назвали самым худшим из всех современных художников! Разве не читали вы, как черным по белому было напечатано, что обществу надо как можно скорее избавиться от всех работ Рицциони, которые позорят нашу живопись?!” – “И он из-за этого покончил с собою?! Вам достается не меньше, милый Михаил Александрович!” – “Так ведь я моложе, – ответил Врубель, – кто знает, что станет со мною, доживи я до шестидесяти шести, как Рицциони...”

Мы стояли на улице, ветер был промозглым. Врубель предложил пойти к “Давыдке”, на Владимирский проспект, я согласился с радостью, ибо время, проведенное с гением, обогащает тебя куда больше, чем сделка на бирже.

Врубель попросил шампанского вина, от еды отказался, я, однако, умолил его взять белой икорки, только-только пришла из Астрахани. Мы долго сидели в молчании, потом он поднял бокал, сказав: “Мир его праху и добрая ему память в наших сердцах. Какой был твердый хозяин своей жизни, какой честный труженик. А как пристрастно истолковал эту его честность “Мир искусств”! Безжалостно, бесшабашно, без боли за судьбу нашего искусства! Господи, в чьих же руках суд над нами, художниками?! Кто только не дерзал на нас! Чьи только грязные руки не касались самых тонких струн чистого творчества?! А разве эта вакханалия недоброжелательства не путает реальные представления в нашей среде? Надо всегда помнить, что труд скромного мастера несравненно почтеннее, чем претензии добровольных невропатологов, лизоблюдничавших на пиру искусства. В ту пору, когда “неумытые” звали меня “Юпитером декадентов”, полагая в своей темной наивности, что это страшное зло, Александр Антонович так был добр ко мне, так трогателен... Утешитель и друг с лучистыми глазами младенца. Когда же мы убедимся, что только труд и умелость дают человеку цену? Почему ополчились против этой истины?!”

Он выпил, отставил бокал, посмотрел на меня своими прекрасными глазами и заплакал.

Такой гордый, самолюбивый, сдержанный человек сидел и плакал, беззвучно, неподвижно, только слезы катились по небритым щекам и

*странно дергались губы, словно бы он приказывал себе перестать, но сердце, неподвластное слову, не слушалось приказа...*

*Господи Боже ты мой, как же трудна жизнь артиста, как раним он, и как умеют этим пользоваться многочисленные Сальери.*

*Два года двадцатого века отмечены на всемирном календаре, а нравы наши по-прежнему подобны дикарским, пещерным.*

*Поклон низжайший Вашему семейству.*

*Искренне Ваши*

*Василий Скорятин».*

## 4

Свое шестидесятипятилетие князь Евгений Иванович Ростопчин отметил в одиночестве, никого не звал. Накануне он слетал в Париж, отстоял службу в православной церкви на рю Дарю, оттуда отправился в Ниццу, взял на аэродроме в прокат маленький «Фиат» (терпеть не мог показного шика, экономил в мелочах, чтобы главные средства вкладывать в дело, а проценты – в приобретение русских книг, картин, икон, архивов) и отправился на кладбище – совсем небольшое, на окраине города. Здесь были похоронены русские, никого другого, только русские – Горчаковы, Ростопчины, Вяземские, Епанчины, Пузины, Раевские, Беннигсены, Кутузовы, Романовы...

Смотритель кладбища, запойный серб Петя, как всегда в этот день, приготовил огромные букеты роз: белые – для бабушки, красные – мамочке; это их любимые цвета. Память о людях как бы продолжает их жизнь среди нас, создавая иллюзию постоянного соприсутствия, непрерываемого бытия...

Евгений Иванович долго сидел возле скромных памятников; потом прошел по маленьким, узеньким аллеям, остановился возле свежей могилы, спросил Петю, кто почил, отчего нет креста. Тот ответил, что преставилась Аграфена Васильевна Нессельроде. Жила в жестокой нужде, голодала, старенькая; на крест собирают, но пожертвование дают очень скупое, по пять – десять франков, откуда ж денег взять. Старики вымерли, молодые по-русски не говорят, растворились, стыдятся предков, норовят фамилию поменять, а уж имен православных и вовсе не осталось, где был Миша, там ныне Мишель, где Петя – Пьер; да хотя б Марье в Мари переделаться, так ведь нет, в Магдалены норовят, только б от своего корня подальше.

Евгений Иванович дал Петечке денег, тот пошел в лавку купить сыра, хлеба, зелени, бутылку красного вина из Сен-Поль-де-Ванса. Князь вообще-то не пил, а если *пригубливал*, то лишь «вансовку», ее так и Бунин называл, Иван Алексеевич, и Шаляпин, когда навещался на юг, и даже Мережковский, хотя сурового был норова человек и более всего на свете любил изъясняться по-французски; даже русскую историю комментировал на чужом языке, так, считал он, точнее ее чувствуешь, науке угодна отстраненность.

Однажды кто-то из здешних стариков заметил, что Северную Америку интереснее всех понял француз Бомарше; китайскую культуру открыл итальянец Марко Поло, он же описал ее, сделав фактом мировой истории; Бисмарк лучше всех иных ощущал Россию, а именно русские смогли синтезировать дух Европы, выраженный английской экономией, немецкой философией и французской революцией.

...Ростопчин вернулся к родным могилам. Место между могилой мамочки и князя Горчакова было пустым – он купил эту землю для себя, девять лет назад, когда сын Женя женился на певице из Мадрида. Он уехал с нею в Аргентину, изменил фамилию, став Эухенио Ростопчин-Масаль (сократил наполовину отцовскую фамилию и принял девичью фамилию жены), купил пастбища на границе Патагонии. Отцу писал редко, чаще матери. Американка, она бросила Ростопчина, убежав с французским режиссером; была счастлива, пока тот не умер от разрыва сердца; вернулась в Цюрих, позвонила бывшему мужу, предложила мировую. Женя (тогда еще не Эухенио) был в восторге, хоть мать оставила мальчика двадцать лет назад, крошкой, только порою присылала открытки на Рождество. Ростопчин отказал: «Я не прощаю измены». Женя тогда замкнулся, он все эти годы – хоть уж и закончил университет – жил мечтой о *семье*. Это ведь «шокинг», если за столом нет папы или мамы, – приходится отвечать на вопросы друзей. В том кругу, где он вращался, очень щепетильно относились к тому, чтобы дом был крепостью. Все необходимые приличия соблюдались; пусть папа имеет двух любовниц, а маму обслуживает атлет (пятьдесят долларов в час; конечно, дорого, но необходимо для поддержания жизненного тонуса, гарантирует спокойствие и дружество в семейном очаге), но форма обя-

зана быть абсолютной – на этом держится общество, нельзя замахиваться на святое. Наверное, именно тогда и начался разлад между отцом и сыном. Женя перешел на французский, перестал читать русские книги. По прошествии года Ростопчин, к ужасу своему, услышал акцент в говоре сына.

– Мальчик, ты не вправе забывать родное слово.

Женя ответил, что его родная речь – французская или английская, на худой конец немецкая или испанская.

– В России я никогда не был, не знаю эту страну и не люблю ее.

– Разве можно не любить родину? – спросил Ростопчин. – Ту землю, где родились твои предки?!

– Моя родина здесь, – ответил Женя, – а большевики выкинули твоих предков и тебя вместе с ними, хороша родина...

Ростопчин заметил, что в случившемся больше вины их, тех, кто правил, чем большевиков:

– Те чувствовали народ, а мы не знали его, жили отдельно, в этом трагедия. Не только большевики, но даже тузы говорили государю, что необходимы реформы, нельзя тасовать колоду знакомцев из придворной бюрократии; конечно, привычные люди охраняют традицию, а какова она была, наша традиция, если говорить честно? Революция случилась через пятьдесят лет после того, как отменили рабство, а править империей продолжали семидесятилетние, они рабству и служили, иному не умели. Надо было привлекать к управлению ответственных людей нового толка, предпринимателей, специалистов производства, а не старых дедов вроде Штюрмера или Горемыкина, которые спали во время заседаний кабинета, тщились сохранить привычное, чурались самого понятия «движение», страшились реформ, а уж про конституцию и слушать не хотели. Пойми, Женя, Россия была единственной страной в Европе, которая жила без конституции, исповедуя теорию общины – то есть не личность, не гражданин, не семья превыше всего, но клан, община, деревня; что хорошо для сотни – то обязательно для каждого! В этом мы повинны перед Россией. Да, горько, да, трагедия эмиграции, но ведь когда мы были в Москве, страна занимала последнее место в Европе, а большевики – хотели мы того или нет – вывели ее на первое, несмотря на все ужасы, трагедии и войны. Нет ничего горше объективности, эмоции всегда угоднее, – душу можно облегчить, поплакав или покричав, но ведь мир подвластен разуму, то есть объективному анализу данностей, а не наоборот. Если наоборот – жди новой трагедии, тогда ужас, крах, апокалипсис.

– Папа, – сказал Женя, – я счастлив, что живу здесь, я не хочу иметь ничего общего с тем, что было у вашей семьи раньше... Мама дала мне душу американца, и я благодарен ей за это. Я живу просто и четко, по тем законам, которыми управляется это общество...

– Двадцать лет ты жил без мамы. Со мною, – заметил Ростопчин. – Когда ты был маленьким, я мыл тебя, одевал, водил в театр, ходил с тобою к парикмахеру, рассказывал сказки...

– Ты упрекаешь меня? – Сын пожал плечами. – По-моему, это принятое отношение к тому, кому дал жизнь. Мама меня никогда и ни в чем не упрекает...

– Не мама воспитывала тебя, а я, Женя.

– Мама родила меня... И я всегда ее помнил. И любил. И ты не вправе требовать от меня, чтобы я вычеркнул ее из сердца. Она – мать.

– Настоящая мать не умеет бросать свое дитя.

– Если ты посмеешь еще раз так сказать о маме, я уйду из твоего дома.

«А на что ты будешь жить? Ты, привыкший к этому замку, и к дворцовому, и к своей гоночной машине, и к полетам на море, и к моей библиотеке, и к утреннему кофе, который тебе приносит в спальню фрау Элиза?»

Но он не задал этого вопроса сыну. Наверное, поэтому и потерял его: безнаказанность – путь к потерям.

Разреши он тогда Жене уйти, тот бы вернулся через месяц, какое там, через неделю; жить в студенческом общежитии, вдвоем с кем-то, не по нему, не вынес бы, научился бы ценить того, кто гарантирует привычные удобства. Но ведь это так жестоко, думал тогда Ростопчин, это и есть то самое, против чего я всегда встаю, – прагматическая бездуховность, форма дрессуры. Удобно, конечно, никаких эмоций, все по правилам, абсолютное соблюдение приличий, но, Боже, какой холод сокрыт в этом! Какое ледяное, крошечное рацио! Воистину проблемы семьи проецируются на трагедии государств...

С той поры Женя ни разу не произнес ни одного русского слова.

Ростопчин пригласил его съездить в Россию.

– Я помню Москву, – сказал он сыну, – мне тогда было пять лет, но я помню ее отчетливо... Давай полетим туда, все-таки надо увидеть ту страну, откуда родом твой отец.

– Зачем?

– Ну, хотя бы затем, что я тебя прошу об этом.

– Я совершенно забыл твой язык, мне будет там неинтересно, какой смысл?

– Только такой, что я тебя об этом прошу, – повторил князь. – По-моему, я никогда и ничем не унижал тебя, Женя... Я выполняю все твои пожелания, какое там, я угадываю твои желания... Во всяком случае, мне так кажется... Я очень тебя прошу, сын...

Тот вздохнул, пожал плечами, согласился, но поставил условие, чтобы эта поездка состоялась в те месяцы, когда нет ни купального сезона на Средиземноморье, ни лыжного сезона в Альпах.

Они приехали в Москву в ноябре. Моросил дождь, ветер был пронизывающим. Ростопчин попросил шофера, что вез их из Шереметьева (он купил люксовый тур, с автомобилем и двухкомнатным номером в «Национале»), ехать помедленнее. «Невероятно», – то и дело повторял он, когда проезжали Ленинградский проспект и улицу Горького. Нет, это не «потемкинская деревня», это явь, он-то помнил, что здесь была узкая улочка, старенькие дома; они уезжали с Белорусского, каждая деталь врезалась ему в память. Говорят: «Ты был маленький, ты не помнишь», – какая чушь, что может быть точнее детского восприятия мира, тебя окружающего, что может быть рельефнее, истиннее?!

Поздним вечером они вышли гулять по Москве. Возле «Арагви» Женя увидел очередь, спросил отца, что это. Тот объяснил, сын фыркнул:

– Веселая родина у моего отца, такая уж веселая, что даже поужинать толком нельзя, надо мокнуть под дождем – какое варварство!

Ростопчин, однако, надеялся на завтрашний день: Третьяковка, потом Библиотека имени Ленина, вечером – «Годунов». С прогулки они вернулись в отель около двенадцати. Женя попросил ужин, ему ответили, что ресторан уже закрыт.

– Что же мне, принимать снотворное? Я не могу заснуть на голодный желудок.

– Пойдите в валютный бар, – ответили ему, – там сделают сандвич.

На следующий день программа удалась отменно. Более всего сыну понравился Верещагин; потрясла картина, на которой была пирамида черепов.

– Этот художник умел работать, ничего не скажешь.

«Купание Красной Конницы» он назвал пропагандистской живописью, то же сказал и о портретах Петрова-Водкина. В Ленинской библиотеке попытался было говорить по-русски, но смутился, что путается в падежах, насупился, замолк. Ему предложили перейти на английский. Он спросил, какие книги Гитлера, Черчилля и Троцкого можно получить к изучению. Ему ответили, что Гитлер – как расист и агрессор – запрещен в Советском Союзе; работы Черчилля он может запросить в зале для научных работников; речи Троцкого изданы в стенограммах съездов партии, имеются и здесь, на выдаче. «Годунов» ему показался затянутым, хотя постановочно – тут он согласился с отцом – все было прекрасно.

Спектакли МХАТа ему не понравились: он плохо понимал живую речь. В ГУМе потешался над товарами и очередями, пришел в полнейший восторг от Театра оперетты, – это и сломало окончательно Евгения Ивановича. Все, понял он, мальчик потерян, никакой он не русский, бесполезно пытаться изменить его, он живет западными представлениями о том, что хорошо и что плохо; количество ресторанов и дансингов для него важнее уровня культуры; нет, я не оправдываю конечно же русский сервис, он плох, спору нет, но ведь нельзя же за деревьями не видеть леса!

– Дерево это и есть лес, – ответил Женя, не поняв отца.

Ростопчин пошел в бар и выпил водки. В тот вечер он пил много, но не мог опьянеть, молил Бога, чтобы тот послал ему слезы, выплакаться бы, но глаза были сухими. Позвал Женю на прогулку, остановился напротив «Метрополя», показал мозаику:

– Это – великий Врубель.

Женя пожал плечами:

– Если тебе хочется называть великим того, кто делает нечто странное, называй, но я не обязан с тобою соглашаться, надеюсь, ты не обидишься на меня за это, или тебе угодна неискренность? Пожалуйста, я могу сказать, что это гениально.

Они вернулись в Цюрих. Женя сразу же улетел к матери, позвонил оттуда, попросил выделить ему часть денег: «Начинаю свое дело, стыдно висеть у тебя на шее, вырос уже, спасибо за все, отец».

С тех пор князь жил один. Полгода в его замке провела австрийская горнолыжница, чудо что за женщина, великолепа в постели, незаменима в путешествиях, заботливый дружок; как-то сказала: «Мне тебя мало, ты совсем не любишь свою девочку». Он пошел к врачу, тот прописал ему мультивитамины, он начал стараться и сразу же понял, что никакой любви у него к этой австрийской кошке нет; лишь естественное прекрасно; она предложила пригласить в дом кого-нибудь из его молодых друзей, в конце концов любовь втроем вполне современна; он купил ей квартиру в Вадуце и устроил на работу. Вскоре она сошлась с одним из тамошних банкиров, тот бывал у нее раз в неделю, остальные вечера она проводила в Австрии, двадцать километров до границы, а там Фельдкирх, уютный городок в Альпах, масса испанцев, югославов, мулатов и никаких условностей – никто не спрашивает паспорт в отелях, спи с кем хочешь, надо жить, пока можно, ведь так мало отпущено женщине, так несправедливо мало.

...Со Степановым князь познакомился случайно; ночь проговорили, перебивая друг друга; потом он приехал в Москву и привез первое русское издание Библии; купил за тысячу долларов, по случаю, на аукционе.

– Меня посадят, если я сделаю этот дар вашей библиотеке? – спросил он Степанова.

Тот не сразу понял его:

– Почему?

– Ну, пропаганда религиозного дурмана, чуждая идеология, так ведь у вас говорят?

– Евгений Иванович, куда-то вас не туда понесло. Про нашу дурость я лучше вас знаю, ибо живу тут, и сердце мое рвет побольше вашего, когда вижу родную азиатчину, но уж так-то бы вам не надо, вы ж не чуждой, и боль нашу и счастье берите всерьез...

В следующий приезд подарил две иконы, Московская патриархия устроила в его честь прием.

– Ну, хорошо, – сказал он Степанову на прощание, – а если я решу собрать коллекцию картин и устроить свою личную экспозицию – дар Третьяковке, – такое возможно?

С этого и пошло.

Но более всего он охотился за Врубелем; основания к тому были особые – мамочка дружила с вдовой художника, певицей Надеждой Забелла.

...Когда Ростопчин спустился в маленький домик Петечки, стол был уже накрыт. Он сел в красный угол, под образа, выпил «вансовки». Петечка позволил себе пригубить самогонки, гнал ее из проросшей пшеницы с медом, – старый российский рецепт.

– С днем рождения, ваше сиятельство, сердечно желаю счастья, а вот и подарок вам, – сказал Петечка, достав из старенького шкафа расшитый рушничок.

– Ах ты, мой дорогой, – Ростопчин обнял его, почувствовав, как в груди разливалось тепло, – ну, спасибо тебе, угодил, умница...

Петечка тоже умилился, это в обычае – умилиться радости ближнего. Допил свою самогонку, занюхал сыром и начал ставить вопросы, так у них было заведено, словно неписанный ритуал: после первой стопки с полчаса беседовать о жизни; как-никак расставание на год, кто знает, доживем ли, наши годы к преклоу идут, да и мир безумен: нажмут на кнопку – и полетим в тартарары, там не очень-то поговорить, отвечать за земные грехи придется, а безгрешных нет, все ныне Сатаной отмечены, оттого как власть золотого тельца окрутила людишек.

– Вот объясните мне, ваше сиятельство, зачем это католики так между собою разлажались? Отчего у них столько религий взамен одной?

– Видишь ли, Петечка, – задумчиво ответил Ростопчин, – грех Ватикана в Средние века был таким ужасающим, папство задушило столько великих мыслителей, что терпеть и далее это люди не могли. Всякий бунт зреет внутри существующего, а не вовне. Если вовне – не так страшно, армия решит дело, а коли в каждом живет мысль о несправедливости, тут дивизией дело не исправишь, грядет развал... Первыми от Ватикана, который был столицей святой инквизиции, отделилось англиканское исповедание, они отринули папу, провозгласили своим главою короля – островитяне, им легче. И было это в середине тысяча пятисотых годов, и они победили, а вот Мартин Лютер до них еще начал, но того, чего достигли англичанцы, при своей жизни не достиг, лишь после его смерти родились и протестанты, и евангелическая церковь. А кальвинисты? Отвалились от папства в середине того же века, но те стояли на вере в predeterminedность людских судеб. Что проповедовал Кальвин? Он учил в своей Женеве сподвижников: «Если ты морально активен и если эта моральная активность приносит добрые плоды, тогда ты predetermined к спасению; лишь Библия – единственный источник веры, Священное писание не обладает таинством святости». Он отринул распятие и епископов, одних лишь пасторов сохранил. А уж дальше начались выкрутасы, Петечка, все эти адвентисты, квакеры, «свидетели Иеговы», тут, милый, сплошная мешанина, дурь, но не случайно все это – отлилось Ватикану и сожжение Бруно, и запрет на мысль, и уничтожение холстов, на которых было изображено обнаженное тело Матери.

– А вот я про «свидетелей Иеговы» что-то никак не пойму, ваше сиятельство, они ко мне сюда приходили, беседы со мной начинали...

– Гони взашей, психи. Их в прошлом веке безумный американец создал, Рассэл. Пугал людишек, что конец мира будет в восемьсот семьдесят четвертом году. А мир не исчез, наоборот, начался расцвет науки, ремесел и искусства. Тогда они быстренько пересчитали, что мир расколется в две тысячи четырнадцатом году; так что нам с тобою еще дают тридцать лет на жизнь... Недотянем, а, Петечка?

– Дотянем... Уинстон-то под сотню прожил, а коньяк пил и сигары курил.

– Так, милый, он ведь в прошлом веке родился, когда молоко было коровьим, а не порошковым.

– Верно, однако ж пенициллина не было, от гриппа людишки мерли как мухи.

В дверь постучались, Петечка спросил:

– Кто?!

*Ответили по-французски; Господи, подумал Ростопчин, ведь я ж в Ницце, на русском кладбище, осталось тут соплеменников человек десять от силы, а ощущение такое, будто в Загорске, как же странен мир, как непостижим...*

*Приехали туристы из Бельгии; им показали это русское кладбище, но они попросили провести, сулят пятьдесят франков за экскурсию; Петечка ответил, что занят, за деньги историю не говорит, только если чувствует в себе потребность. Предложил прогуляться самим, а если языка не знают, то пусть берут с собою словари, да и русский не грех учить, не последний язык на земле...*

*Отправив шумных бельгийских крестьян смотреть могилы аристократов, вернулся к столу, опрокинул еще одну стопочку, спросил про квакеров, выслушал ответ Ростопчина, что их основатель Фокс восстал против культа, никаких славословий, нельзя больше терпеть папство с его постоянным прославлением гениальности поставленного на трон наместника Божьего; как кого ни изберут епископы, так тот и есть самый мудрый, это что за такой закон?!*

*– Вот как, – сказал удовлетворенно Петечка, – значит, только у нас в православии единение и братство, только наша российская церковь всегда была собою самой...*

*– Да будет тебе. – Ростопчин поморщился. – Нечего из себя строить богоизбранника, все одним миром мазаны... Никона помнишь?*

*– Это какого? Древнего?*

*– Ну уж и не такого древнего... Раскол-то откуда пошел? Отчего?*

*– От англичанина, – ответил Петечка с уверенностью.*

*– От англичанина, – повторил, вздохнув, Ростопчин. – Несчастные мы люди, Петя. Как что не так, так сразу ищем, на кого б причину перевалить, себя виновными признать ни в чем не желаем...*

*– А кто себя желает признать виновным? – возразил Петя. – Американец, что ль? Или немец? А тутошние люди?! Они за свою правоту задушатся.*

*– Американец чаще свою неправоту признает, Петечка. Они ж во времена Рузвельта признали много своих ошибок, на том и выстояли... А мы? Мне ж мамочка рассказывала, покойница, как все друг дружке шептали про то, что Победоносцев Россию душит, государыня психопатка, только колдунам верит, Россией правит коррумпированная банда, но ведь шептали, Петечка, вслух-то славословили! Поди кто задень – на дыбу! Славьсь, ура, не тронь! Вот и случился семнадцатый год, когда ложь переполнила общество, взорвала его изнутри... А ты про наше православное единение... Ерунда это, Петечка. Давно уж нет единения, с Никона еще, с наших обновленцев, которые хотели приблизить веру к народу, сделать ее из непонятной догмы храмом людским... Но сразу же поднялись наши дремучие, кто за букву цепляется, кому мысль страшна, откуда иначе старообрядцам появиться на Руси? А «беспоповцы»? Спустя сотню лет докатился западноевропейский протест против тьмы папских правителей и до нашей славянской матери. А уж потом и вовсе ужас – скопцы, хлысты... Такого нигде более нет, ни в одной христианской стране. А почему? Ответь-ка мне, милый человек? Не ответишь... Никто не хочет отвечать, боимся себя обидеть, не желаем в зеркало взглянуть... Ладно, Петечка, давай помолимся молча, чтобы и в следующий год нам с тобою вместе этот день отметить. Следи за могилами, как и прежде.*

*Ростопчин дал Петечке пятисотфранковый билет и, не прощаясь, пошел к арендованному «фиатику»; через пятнадцать минут был в аэропорту, а через два часа приехал в свой замок над озером, в Цюрихе.*

*Дворецкий сказал, что прилетел Шаляпин, Федор Федорович, отдыхает в той комнате, где обычно останавливается; неважно себя почувствовал в дороге, от обеда отказался.*

*«Господи, – подумал Ростопчин, – вот счастье-то! Если о ком и можно было мечтать, то лишь о нем! Как же мило он поступил, приехав! Помнит о моем дне!»*

– *Пожалуйста, Шарль, накройте нам в каминной, к телефону не подзывайте, Федор Федорович любит птицу, пусть сделают фазана, спросите на кухне, успеют ли? Только замочить надо не в белом вине, а в красном, значительно тоньше вкус...*

Потом он поднялся к себе, принял ванну, как-никак за сутки намотал более тысячи километров, взял аспирин (странные здесь люди, подумал он, – «взял самолет», «взял метро», «взял аспирин»). Все берут, берут, когда отдать успеют?!), закапал в глаза мультивитамины (все-таки ложь прекрасна; великолепно известно, что эти капли никакие не мультивитамины, а возбуждающее средство, форма наркотика, можно *взять* лишь по предписанию врача) и начал переодеваться к ужину...

– Ах, Женя, – пророкотал Федор Федорович, откинувшись спиной поближе к громадному камину, сложенному из серого гранита, – какое счастье быть беспамятным, не знать, сколько нам лет, не ведать, где наши родные. Если б помнить только радостное, если б забыть, где наши отцы ныне, друзья, подруги...

– У тебя какая пора самая счастливая?

– Детство конечно же... Да ведь и у каждого так. Вспомни, как Лев Николаевич писал про волшебную зеленую палочку, про брата Николеньку, про доброго Карла Ивановича... «Гутен морген, Карл Иванович», – за одной фразой весь дух прошлого века встает, с его спокойствием, неспешностью, топлеными сливками, самоварами на уютных верандах под керосиновой лампой... Ты, кстати, знаешь, отчего соловьи всю ночь поют?

– Нет.

– О, это поразительно... Они, знаешь ли, оттого заливаются, что полны беспокойства, как бы самочка не уснула, развлекают ее, покудова она птенцов высиживает, а то ненароком выпадет, сонная, из гнезда, тогда конец, гибель рода, катастрофа, дизастер<sup>5</sup>...

– Да что ты говоришь?!

– Представь себе, абсолютная правда. Мне один ботаник говорил в Риме, чем-то на Дон-Кихота похож; все хорошие ботаники на него похожи, кстати. А у тебя какая пора самая счастливая?

– Старость. – Ростопчин вздохнул, но сразу же заставил себя улыбнуться; не терпел, когда его настроение передавалось другому, тем более Федор Федорович приехал без напоминания, так трогательно, все помнит, дружочек; из самых близких один он остался на всем белом свете: хозяин «Максима» преставился, на десятом, правда, десятке; Юсупова нет, лица Рахманинова и Бунина стал забывать, страшно...

– Ах, перестань, Евгений, полно, будет... Не верю... Детство у каждого – счастье...

– Федор, но ты же в детстве не голодал! А я стал сытно есть только годам к сорока пяти, когда раскрутил дело. Смешно: став богатым, я, естественно, взял себе личного врача, и первое, что тот сделал, – предписал мне жесточайшую диету: молоко, творожок, ломтик хлеба из отрубей и фрукты. А я-то в молодости мечтал о больших кусках шипучего мяса, об ухе, про которую мамочка рассказывала, когда сначала курицу варят, потом в этот бульон кладут ерша со щукою, а уж после, отцедив, *залаживают* стерлядь; царская уха; и обязательно пятьдесят грамм водки в нее, именно так варили на Волге...

– Что-то отец мне про такое обжорство не говорил, Женя... Хотя бурлак, может, не знал. Перхебс<sup>6</sup>...

– Сначала-то бурлак, – улыбнулся Ростопчин, – а после – Шаляпин. Я хочу за его светлую память выпить, Федор.

<sup>5</sup> Дизастер (англ.) – катастрофа.

<sup>6</sup> Перхебс (англ.) – возможно.

Выпили; впрочем, говоря точнее, сделали по маленькому глотку из высоких, тяжелых хрустальных бокалов.

– А я, знаешь, как сейчас помню: отец мне с Борисом подарил ко дню рождения, вроде как у тебя сегодня, – усмехнулся Федор Федорович, – игрушечный театр... С этого и началось все. Я мальчонкой еще понял, что театр – это надежда, бегство от страха смерти. Да, да, именно так! Ведь актер проживает на сцене не одну жизнь, а десятки. Совершенно разных, неповторимых! К концу пути появляется усталость: «и это было под солнцем», все не так страшно умирать... Но это только Россия. У нас ведь отношение к театру религиозное. Мне Михаил Чехов рассказывал, что кондукторша в трамвае к нему обратилась: «Михаил Александрович, я вас в “Гамлете” четыре раза смотрела». Здесь-то все по-иному...

Шалапин вздохнул; скептическая улыбка тронула его бескровные губы; закурив, тяжело затаился:

– Я к тебе прямо со съемок, от Феллини. Знаешь, его дар абсолютно феноменален. Отсутствие театрального профессионализма ему заменяет невероятный, прямо-таки поразительный талант. Я в сложном положении: мы, русские артисты, превыше всего ценим профессионализм, это у нас в традиции, а он ни черта в этом не смыслит. Я у него как-то снялся – почти без слов – в роли актера Руиджери, забыл уж об этом, прожил деньги давным-давно, как вдруг он меня снова зовет: «Будешь играть Юлия Цезаря!» – «Помилуй, Феллини, но я ведь совершенно не похож на него! Вспомни портреты императора!» – «Ерунда! Я снял тебя в роли Руиджери, а тот играл Цезаря, получается гениальный монтаж, поверь, я чувствую ленту задолго до того, как она снята!» Я поверил. Вообще талантливому человеку нельзя не верить, ты замечал?

– Замечал, – согласился князь. – Очень верно ты это подметил.

– Вэлл... Пришел я в гримуборную, раздеваюсь, закусьваю, – я никогда не ем после того, как положен грим, можно сломать рисунок, это невосполнимо, – и тут мне приносят парик Цезаря. Кудри, представь себе! Лыняные кудри! Я человек сдержанный, но – не выдержал, швырнул парик на землю: «Да как же вам, итальянцам, не стыдно?! Неужели не знаете, что ваш император был лысый?!» Заставил себя постричь. Обкорнали. И все из-за него, из-за Феллини... Ладно... Приносят венки. Грубятина, сделано топорно, на голове не сидит, какая-то детская игрушка, отец такое выбрасывал в окно... Ему Головин не только рисовал костюм, он на примерке рядом с портным стоял, каждую складку проверял... Ну-с, кое-как я этот самый обруч переделал, а тут Феллини: «Как дела, Федор?» – «Да разве можно надевать такой невероятный венок?» – «Ах, черт с ним! Не трать попусту силы, он все равно свалится у тебя с головы во время убийства!» – «Нет, дорогой Феллини, я хочу, чтобы Цезарь умер, как и подобает императору... В тоге... С венком на голове... Хотя, впрочем, по римскому праву, он и не мог считаться настоящим императором, но я тем не менее полон к нему респекта». Ты думаешь, он стал со мной спорить? Доказывать что-то, как это принято в нашем театре? Да нет же! «Если тебе так хочется, умирай в короне!» И – все! Ну, хорошо, я собрался, вышел на съемочную площадку, сказал Феллини, что известную фразу «И ты, сын мой» произнесу по-гречески, ты ведь помнишь, что в Древнем Риме высшим шиком считалось говорить на языке поверженной Эллады...

– Да неужели?! – удивился Ростопчин. – Я не знал!

– Ты попросту забыл, Евгений, ты знал... Лишь император Клавдий официально запретил употреблять в Сенате греческий, потому что трепетно следил за тем, чтобы соблюдались римские традиции. Хотя и ему однажды пришлось извиниться перед собравшимися за то, что он сам был вынужден употребить греческое слово, поскольку его не было в языке римлян, а слово это выражало высший смысл политики – «монополия»... Словом, сидим, я жду команды режиссера, готовлюсь к работе, мизансцена разведена, а Брута все нет и нет... И вдруг приводят древнего старикашку! Представь себе мой ужас! Я говорю Феллини: «Но ведь Брут был незаконным сыном Цезаря! А этот – старше меня!» Возникла дикая, темная пауза, все замерло

на съемочной площадке. А великий Феллини пожал плечами и спокойно заметил: «Но ведь это не доказано, это ж гипотеза». Говорит, а сам где-то далеко, его совершенно не интересует историческая правда, он *просматривает* свою ленту... Мою греческую фразу конечно же при монтаже он выбросил, оставил всего два плана из тех десятков метров, что снимал, а фильм, повторяю, вышел гениальный... Я ж говорю, его невероятный талант выше профессии; *выплескивание* дара – штука мистическая, Женя, непознанная.

– Как все это интересно, – тихо сказал Ростопчин. – Да и рассказываешь ты поразительно. Словно рисуешь. Я все вижу, право!

– Я – ничто в сравнении с Жоржем Сэндерсом. Послушал бы ты, как он держал зал, как он рассказывал со сцены!

– А я не знаю этого имени, Федор, не слышал о нем...

– Неудивительно. Они ж беспамятны, в Штатах-то. Есть паблисити – помнят, нет – на свалку! Родись у них Шекспир, но не имей он хорошего банковского счета, его б и не заметил никто. А Сэндерс из Петербурга, нашу гимназию окончил, потом Америку потрясал, лучший драматический актер. Но все молодым себя считал... Шестидесять пять уже, а он пьет, как сорокалетний. И девок меняет. Сколько я говорил с ним, как убеждал побереечь себя! Он обещал... О, как он клялся мне... Покончил с собою – и нет памяти. А Саша Гитри? Помнишь, сын великого Люсьена Гитри, который ушел из «Комеди Франсэз»?! Духа рутины не выдержал, им же режиссер давал в руки бумажные цветы, они на весь зал шуршали, поди играй в таком ужасе. К чему это я? – Федор Федорович нахмурился, рубленные морщины сделали его лицо похожим на маску.

– Ты заговорил о Гитри.

– Ах да, спасибо! Он ведь тоже родился у нас, в Петербурге. Его отец имел высший взлет, когда наш антрепренер Теляковский подписал с ним контракт на год работы в Михайловском театре... Был такой в северной столице, все спектакли давали на французском, одна аристократия собиралась... Так вот, Сашка с моим отцом сдружился, на все его репетиции ходил; забьется в угол зала и сидит... А он уже тогда комедии писал, его вся Франция ставила, любимец Парижа. Он – в одном углу, я – в другом. И заметил я любопытнейшую вещь: то он смотрел на отца с обожанием, а то вдруг лицо его замирало – в самых драматических местах... Видимо, ощущал, что в Федоре Ивановиче воплотилось то, чего он не достиг и никогда не достигнет. Я думаю, что это его понимание своей – в сравнении с Шаляпиным – малости свидетельствовало об определенной ущербности духа. Вот и скатился к предательству Сашка Гитри... Стал с немцами в Париже коллаборировать! Его не судили после войны, французы простили его за легкость таланта, так он сам себя извел: без рекламы, статей о нем, без шума жизнь ему была не в жизнь. И умер от рака... В неизвестности... Истинный-то художник разве на предательство способен? Только Сальери, только несостоявшиеся...

– Как тебе фазан, Федор?

– Этот фазан? Какая прелесть! Чудо! Просто чудо!

– Ты иногда – особенно если падает тень – делаешься похожим на отца.

– На отца никто не может быть похожим, Женя. Знаешь, кто написал его лучший портрет?

– Не знаю.

– Коровин. В жилете отец стоит. Я его в дар Родине отправил. Коровин этот портрет за двадцать минут сделал, он ведь стремительно писал... Знаешь, как это было? Отец торопился в Питер, у него было двадцать спектаклей в Большом, двадцать в Александринке, собирал чемодан, расхаживал по комнатам в жилетке, а Коровин: «Ну-ка постой, Федор, я сейчас, мигом!» И – закончил ведь! Мы потом отца на вокзал провожали, и шофер так лидировал мотор, что отец буркнул: «Господи, хоть бы разглядеть, обо что сейчас насмерть разобьемся». Как мог Коровин ухватить поразительное сходство без рисунка, кистью – до сих пор ума не приложу!

Между прочим, я еще один портрет в Россию привез. Самый, пожалуй, забавный. Дело было так: начал – в очередной раз – Коровин писать отца, и все ему не нравится, все не так, считает, сходства нет. Решил замазать, а отец говорит: «Погоди, дай-ка мне кисточку», – он ведь сам рисовал прекрасно. Коровин отдал, но и у отца ничего не вышло. А тут пришел барон Клодт, попросил кисть, но и у него тоже ничего не получилось; Коровин начал нервничать, все, говорит, замажу; случайно заглянул Серов, молча взял кисть, сделал три мазка и сразу же поймал сходство. Коровин не хотел подписывать, говорил Серову, мол, это ты сделал, тогда Серов взял да и поставил две подписи: «Коровин и Серов». Этот портрет всегда был с отцом: сначала на Новинском, потом в его парижской квартире, потом у меня в Риме, а сейчас снова вернулся в Москву.

– Да неужели?! Какое чудо! Ты записываешь все эти истории, Федор?

– Собираюсь сделать книгу.

– Нельзя медлить, под Богом ходим!

– Ты прав. Главное, есть ведь что писать. Помню, как директор театра Теляковский разрешил отцу поставить «Дона Карлоса». Такого не было ранее, чтоб певец делался постановщиком... Но Теляковский позволял отцу в опере все, как Петипа – в балете. И знаешь, отец так работал с певцами, что они поднялись до уровня настоящих драматических актеров. А это ведь почти совершенно невозможно. Тенор Лабинский, который до того и двигаться-то не мог толком по сцене, так *заиграл*, что люди плакали в зале... Да... А после премьеры отец пригласил всех на Новинский, мамочка накрыла три огромных стола, народу набилось – тьма. Отец, помню, поднял первый бокал и, оглядев всех, сурово сказал: «Вы же всё можете! Абсолютно всё! Но вы – лентяи!»

Ростопчин вздохнул:

– Обломов в Цюрихе помер бы в одночасье.

Шалапин кивнул:

– А как отец режиссировал в Парижской опере! Приведет с собою Коровина и Билибина, ругается так, что люстры трясутся: «Окно нарисовал – не там! Эта дверь будет неудобна певцу! Как в этой мизансцене со светом работать?!» Он был невероятно требователен к окружающим. Женя, потому что прежде всего был требователен к себе. Я тогда у него жил, в Париже, он на моих глазах лепил образ Кончака, Боже, как это было поразительно! Он ведь во всем методе Станиславского следовал, боготворил его, а тот учил: «Коли не знаешь, как играть роль, пойдти к товарищу и пожалуйся... Начнется беседа, потом непременно случится спор, а в споре-то и родится истина». Вот отец и выбрал меня в качестве «товарища-спорщика». Начинили мы обычную нашу прогулку от Трокадеро, там поблизости была его квартира, спускались вниз, и как же он говорил, Женя, как он поразительно рисовал словом! Он великолепно расчленил образ на три составные части: каким Кончак был на самом деле, каким он видится зрителям и каким его надобно сделать ему, Шалапину. Знаешь, он грим Кончака положил в день спектакля, без репетиции! Это ж такой риск! Почему? А потому, что был убежден в своем герое, он видел его явственно... Сам себе брови подбрив, сам нашел узенькие татарские брючки и длинную серую рубашку, ничего показного, все *изнутри*. Он и на сцене появился неожиданно, таким, словно вот-вот спрыгнул с седла, бросив поводья слугам, измаявшись после охоты... Прошел через всю сцену молча, а потом начал мыться, и делал это до того сладостно, фыркая, обливая себя водою, что все в зале ощущали синие, в высверках солнца, студеные брызги... И обратился-то он к Игорю не по-оперному, торжественно, а как драматический актер, продолжая умываться: «Ты что, князь, призадумался?» Ах, какой тогда был успех, Женя, какой успех... А я тем не менее рискнул сказать ему после премьеры: «С театральной точки зрения ты бедно одет». Отец не рассердился, промолчал, а потом купил на Всемирной выставке, в Советском павильоне, красивый бухарский халат. Его-то и надевал после умывания... Театр – это чудо, Женя... Надо, чтобы люди воочию видели, как Кончак из охотника превращается

в вождя племени, могущественного хана... Он ведь ни в библиотеках не просиживал, ни к ученым не ходил за консультациями, он мне тогда оставил завет – на всю жизнь: «Искусство – это воображение».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.